

Оскар Уайльд

Из глубины

(DE PROFUNDIS)

Дорогой Бози!

После долгого и бесплодного ожидания я решил написать тебе сам, и ради тебя, и ради меня: не хочу вспоминать, что за два долгих года, проведенных в заключении, я не получил от тебя ни одной строчки, до меня не доходили ни послания, ни вести о тебе, кроме тех, что причиняли мне боль.

Наша злополучная и несчастная дружба кончилась для меня гибелью и позором, но все же во мне часто пробуждается память о нашей прежней привязанности, и мне грустно даже подумать, что когда-нибудь ненависть, горечь и презрение займут в моем сердце место, принадлежавшее некогда любви: да и сам ты, я думаю, сердцем поймешь, что лучше было бы написать мне сюда, в мое тюремное одиночество, чем без разрешения публиковать мои письма или без спросу посвящать мне стихи, хотя мир ничего не узнает о том, в каких выражениях, полных горя или страсти, раскаяния или равнодушия, тебе вздумается отвечать мне или взывать ко мне.

Нет сомнения, что мое письмо, где мне придется писать о твоей и моей жизни, о прошлом и будущем, о радостях, принесших горе, и о горестях, которые, быть может, принесут отраду, - глубоко уязвит твое тщеславие. Если так, то читай и перечитывай это письмо до тех пор, пока оно окончательно не убьет в тебе это тщеславие. Если же ты найдешь в нем какие-нибудь упреки, на твой взгляд незаслуженные, то вспомни, что надо быть благодарным за то, что есть еще провинности, в которых обвинить человека несправедливо. И если хоть одна строка вызовет у тебя слезы плачь, как плачем мы в тюрьме, где день предназначен для слез не меньше, чем ночь. Это единственное, что может спасти тебя. Но если ты снова бросишься жаловаться к своей матери, как жаловался на то, что я с презрением отозвался о тебе в письме к Робби, просить, чтобы она снова убаюкала тебя льстивыми утешениями и вернула тебя к прежнему высокомерию и самовлюбленности, ты погибнешь окончательно. Стоит тебе найти для себя хоть одно ложное оправдание, как ты сразу же найдешь еще сотню, и останешься в точности таким же, как и прежде. Неужели ты все еще утверждаешь, как писал в письме к Робби, будто я "приписываю тебе недостойные намерения!". Увы! Да разве у тебя были хоть когда-нибудь в жизни какие-то намерения - у тебя были одни лишь прихоти. Намерение - это сознательное стремление. Ты скажешь, что "был слишком молод", когда началась наша дружба? Твой недостаток был не в том, что ты слишком мало знал о жизни, а в том, что ты знал чересчур много. Ты давно оставил позади утреннюю зарю отрочества, его нежное цветение, чистый ясный свет, радость неведения и ожиданий. Быстрыми, торопливыми стопами бежал ты от Романтизма к Реализму. Тебя тянуло в сточную канаву, к обитающим там тварям. Это и стало источником тех неприятностей, из-за которых ты обратился за помощью ко мне, а я так неразумно, по разумному мнению света, из жалости, по доброте взялся тебе помочь. Ты должен дочитать это письмо до конца, хотя каждое слово может стать для тебя раскаленным железом или скальпелем в руках хирурга, от которого дымится или кровоточит живая плоть. Помни, что всякого, кого люди считают глупцом, считают глупцом и боги. Тот, кто ничего не ведает ни о законах и откровениях Искусства, ни о причудах и развитии Мысли, не знает ни величавости латинского стиха, ни сладкогласной эллинской напевности, ни итальянской скульптуры

или советов елизаветинцев, может обладать самой просветленной мудростью. Истинный глупец, кого высмеивают и клеймят боги, это тот, кто не познал самого себя. Я был таким слишком долго. Ты слишком долго был и остался таким. Пора с этим покончить. Не надо бояться. Самый большой порок - поверхностность. То, что понято, - оправдано. Помни также, что если тебе мучительно это читать, то мне еще мучительнее все это писать. Незримые Силы были очень добры к тебе. Они позволили тебе следить за причудливыми и трагическими ликами жизни, как следят за тенями в магическом кристалле. Голову Медузы, обращающую в камень живых людей, тебе было дано видеть лишь в зеркальной глади. Сам ты разгуливаешь на свободе среди цветов. У меня же отняли весь прекрасный мир, изменчивый и многоцветный.

Начну с того, что я жестоко виню себя. Сидя тут, в этой темной камере, в одежде узника, обесчещенный и разоренный, я виню только себя. В тревоге лихорадочных ночей, полных тоски, в бесконечном однообразии дней, полных боли, я виню себя и только себя. Я виню себя в том, что позволил всецело овладеть моей жизнью неразумной дружбе - той дружбе, чьим основным содержанием никогда не было стремление создавать и созерцать прекрасное. С самого начала между нами пролегла слишком глубокая пропасть. Ты бездельничал в школе и хуже, чем бездельничал в университете. Ты не понимал, что художник, особенно такой художник, как я, - то есть тот, чей успех в работе зависит от постоянного развития его индивидуальности, - что такой художник требует для совершенствования своего искусства созвучия в мыслях, интеллектуальной атмосферы, покоя, тишины, уединения. Ты восхищался моими произведениями, когда они были закончены, ты наслаждался блистательными успехами моих премьер и блистательными банкетами после них, ты гордился, и вполне естественно, близкой дружбой с таким прославленным писателем, но ты совершенно не понимал, какие условия необходимы для того, чтобы создать произведение искусства. Я не прибегаю к риторическим преувеличениям, я ни одним словом не грешу против истины, напоминая тебе, что за все то время, что мы пробыли вместе, я не написал ни единой строчки. В Торки, Горинге, в Лондоне или Флоренции - да где бы то ни было, - моя жизнь была абсолютно бесплодной и нетворческой, пока ты был со мной рядом. К сожалению, должен сказать, что ты почти все время был рядом со мной.

Помню, как в сентябре 1893 года - выбираю один пример из многих - я снял квартиру исключительно для того, чтобы работать без помех, потому что я уже нарушил договор с Джоном Хейром: я обещал написать для него пьесу, и он торопил меня. Целую неделю ты не появлялся. Мы - что совершенно естественно - разошлись в оценке художественных достоинств твоего перевода "Саломеи", и ты ограничился тем, что посылал мне глупые письма по этому поводу. За эту неделю я написал и отделал до мелочей первый акт "Идеального мужа", в том виде, как его потом ставили на сцене. На следующей неделе ты вернулся, и мне пришлось фактически прекратить работу. Каждое утро, ровно в половине двенадцатого, я приезжал на Сен-Джеймс-сквер, чтобы иметь возможность думать и писать без помех, хотя семья моя была на редкость тихой и спокойной. Но я напрасно старался. В двенадцать часов подъезжал твой экипаж, и ты сидел до половины второго, болтая и куря бесчисленные сигареты, пока не подходило время везти тебя завтракать в "Кафе-Рояль" или в "Беркли". Ленч, с обычными "возлияниями", длился до половины четвертого. Ты уезжал на час в клуб. К чаю ты являлся снова и сидел, пока не наступало время одеваться к обеду. Ты обедал со мной либо в "Савоие", либо на Тайт-стрит. И расставались мы обычно далеко за полночь - полагалось завершить столь увлекательный день ужином у Виллиса. Так я жил все эти три месяца, изо дня в день, не считая тех четырех дней, когда ты уезжал за границу. И мне, разумеется, пришлось отправиться в Кале и доставить тебя домой. Для человека с моим характером и темпераментом это положение было и нелепым и трагическим.

Должен же ты хоть теперь все это понять? Неужели ты и сейчас не видишь, что твое неумение

оставаться в одиночестве, твои настойчивые притязания и посягательства на чужое время и внимание всех и каждого, твоя абсолютная неспособность сосредоточиться на каких-либо мыслях, несчастливое стечение обстоятельств, - хотелось бы считать, что это именно так, - из-за которого ты до сих пор не приобрел "оксфордский дух" в области интеллекта, не стал человеком, который умеет изящно играть идеями; ты только и умеешь, что навязывать свои мнения, - притом все твои интересы и вожеления влекли тебя к Жизни, а не к Искусству, все это было столь же пагубным для твоего культурного развития, как и для моей творческой работы? Когда я сравниваю нашу дружбу с тобой и мою дружбу с еще более молодыми людьми, - с Джоном Греем и Пьером Луисом, мне становится стыдно. Моя настоящая, моя высшая жизнь - с ними и с такими, как они.

Я не стану сейчас говорить об ужасающих последствиях нашей с тобой дружбы. Я только думаю о том, какой она была, пока она еще длилась. Для моего интеллекта она была губительной. У тебя были начатки художественной натуры, но лишь в зародыше. Но я повстречал тебя либо слишком поздно, либо слишком рано, - сам не знаю, что вернее. Когда тебя не было, все у меня шло хорошо.

В начале декабря того же года, о котором я пишу, когда мне удалось убедить твою мать отправить тебя из Англии, я тут же снова собрал по кусочкам смятое и изорванное кружево моего воображения, взял свою жизнь в собственные руки и не только дописал оставшиеся три акта "Идеального мужа", но и задумал и почти закончил еще две совершенно несходные пьесы "Флорентийскую трагедию" и "La Sainte Courtisane" ["Святая блудница" (фр.)]. Как вдруг, неожиданный и непрошенный, при обстоятельствах роковых, отнявших у меня всю радость, ты возвратился. Я уже не смог взяться за те два произведения, которые остались недоработанными. Невозможно было вернуть настроение, создавшее их. Теперь, опубликовав собственный сборник стихов, ты сможешь понять, что все, о чем я пишу, чистая правда. Впрочем, поймешь ты или нет, все равно эта страшная правда угнездилась в самой сердцевине нашей дружбы. Твое присутствие было абсолютно губительным для моего Искусства, и я безоговорочно виню себя за то, что позволял тебе постоянно становиться между мной и моим творчеством. Ты ничего не желал знать, ничего не мог понять, ничего не умел оценить по достоинству. Да я и был не вправе ждать этого от тебя. Все твои интересы были сосредоточены на твоих пиршествах и твоих прихотях. Ты всегда хотел только развлекаться, только и гнался за всякими удовольствиями - и обычными и не совсем обычными. По своей натуре ты в них всегда нуждался или считал, что в данную минуту они тебе необходимы. Я должен был запретить тебе бывать у меня дома или в моем рабочем кабинете без особого приглашения. Я всецело беру на себя вину за эту слабость. Да это и была только слабость. Полчаса занятий Искусством всегда значили для меня больше, чем круглые сутки с тобой. В сущности, в любое время моей жизни ничто не имело ни малейшего значения по сравнению с Искусством. А для художника слабость не что иное, как преступление, особенно когда эта слабость парализует воображение.

И еще я виню себя за то, что я позволил тебе довести меня до полного и позорного разорения. Помню, как утром, в начале октября 1892 года, мы сидели с твоей матерью в уже пожелтевшем лесу, в Брэкнелле. В то время я еще мало знал о твоём истинном характере. Однажды я провел с тобой время от субботы до понедельника в Оксфорде. Потом ты десять дней жил у меня в Кромере, где играл в гольф. Разговор зашел о тебе, и твоя мать стала рассказывать мне о твоём характере. Она говорила о главных твоих недостатках - о твоём тщеславии и о том, что ты, как она выразилась, "безобразно относишься к деньгам". Ясно помню, как я тогда смеялся. Я не представлял себе, что твоё тщеславие приведет меня в тюрьму, а расточительность - к полному банкротству.

Я считал, что некоторая доля тщеславия украшает юношу, как изящный цветок в петлице; что же касается расточительности - а мне показалось, что она говорила именно о расточительности, - то осмотрительностью и бережливостью ни я, ни мои предки никогда не отличались. Но не прошло и

месяца с начала нашей дружбы, как я понял, что именно подразумевала твоя мать. Твое настойчивое желание вести безудержно роскошную жизнь, непрестанные требования денег, уверенность в том, что я должен платить за все твои развлечения, независимо от того, делил я их с тобой или нет, все это привело меня через некоторое время к серьезным затруднениям, и, по мере того как ты все настойчивее захватывал мою жизнь, это безудержное расточительство становилось для меня все более докучным и однообразным, потому что деньги, в общем, тратились исключительно на еду, на вино и тому подобное. Временами приятно, когда стол алеет розами и вином, но ты ни в чем не знал удержу вопреки всякой умеренности и хорошему вкусу. Ты требовал без учтивости и принимал без благодарности. Ты дошел до мысли, что имеешь право не только жить на мой счет, но и утопать в роскоши, к чему ты вовсе не привык, и от этого твоя алчность росла, и в конце концов, если ты проигрывался в прах в каком-нибудь алжирском казино, ты наутро телеграфировал мне в Лондон, чтобы я перевел сумму твоего проигрыша на твой счет в банке, и больше об этом даже не вспоминал.

Если я тебе скажу, что с осени 1892 года до моего ареста я истратил на тебя более пяти тысяч фунтов наличными, не говоря о счетах, оплату которых мне пришлось брать на себя, то ты хоть отчасти поймешь, какую жизнь ты непременно желал вести. Тебе кажется, что я преувеличиваю? За день, который мы с тобой проводили в Лондоне, я обычно тратил на ленч, обед, развлечения, экипажи и прочее от двенадцати до двадцати фунтов, что за неделю, соответственно, составляло от восьмидесяти до ста тридцати фунтов. За три месяца, что мы провели в Горинге, я истратил (включая и плату за квартиру) тысячу триста сорок фунтов. Шаг за шагом, вместе с судебным исполнителем, мне приходилось пересматривать все мелочи своей жизни. Это было ужасно. "Скромная жизнь и высокие мысли", конечно, были уже тогда идеалом, который ты ни во что не ставил, но такое мотовство унижало нас обоих. Вспоминаю один из самых очаровательных обедов с Робби, в маленьком ресторанчике в Сохо, - он нам обошелся примерно во столько же шиллингов, во сколько фунтов мне обошелся обед с тобой. После одного обеда с Робби я написал самый лучший из всех моих диалогов. И тема, и название, и трактовка, и стиль - все пришло за общим столом, где обед стоил три с половиной франка. А после наших с тобой лукулловских обедов ничего не оставалось, кроме ощущения, что съедено и выпито слишком много. Мои уступки всем твоим требованиям только шли тебе во вред. Теперь ты это знаешь. Это делало тебя очень часто жадным, порою беззастенчивым и всегда - неблагодарным. Почти никогда я не испытывал ни радости, ни удовлетворения, угощая тебя таким обедом. Ты забывал - не скажу о светской вежливости и благодарности: эти фамильярности вносят неловкость в близкие отношения, - но ты совершенно пренебрегал и теплотой дружеского общения, прелестью душевной беседы, тем, что греки называли "сладкая отрада", забывая ту ласковую теплоту, которая делает жизнь милее, она, как музыка, аккомпанирует течению жизни, настраивает на определенный лад и своей мелодичностью смягчает неприветность или безмолвие вокруг нас. И хотя тебе может показаться странным, что человек в моем ужасающем положении еще пытается найти какую-то разницу между одним бесчестием и другим, но мое банкротство, откровенно говоря, приобретает оттенок вульгарной распушенности, и я стыжусь того, что безрассудно тратил на Тебя деньги и позволял тебе швыряться ими, как попало, на мою и на твою беду, и мне становится вдвойне стыдно за себя. Не для того я был создан.

Но больше всего я виню себя за то, что я из-за тебя дошел до такого нравственного падения. Основа личности - сила воли, а моя воля целиком подчинилась твоей. Как бы нелепо это ни звучало, все же это правда. Все эти непрестанные ссоры, которые, по-видимому, были тебе почти физически необходимы, скандалы, искажавшие твою душу и тело до того, что страшно было и смотреть на тебя и слушать тебя; чудовищная мания, унаследованная от твоего отца, - мания писать мерзкие, отвратительные письма; полное твое неумение владеть своими чувствами и настроениями, которые выливались то в длительные приступы обиженного и упорного молчания, то в почти эпилептические припадки внезапного бешенства, - обо всем этом я писал тебе в одном из писем, которое ты бросил не

то в отеле "Савой", не то где-то еще, а потом адвокат твоего отца огласил его на суде, - письмо, полное мольбы, даже трогательное, если в то время тебя что-либо могло тронуть, словом, все твое поведение было причиной того, что я шел на губительные уступки всем твоим требованиям, возраставшим с каждым днем. Ты взял меня измором. Это была победа мелкой натуры над более глубокой. Это был пример тирании слабого над сильным, - "той единственной тирании", как я писал в одной пьесе, которую "свергнуть невозможно".

И это было неизбежно. Во всех жизненных взаимоотношениях человеку приходится искать *modus vivendi* [образ действий (фр.)]. В отношениях с тобой надо было либо уступить тебе, либо отступить от тебя. Другого выхода не существовало. Из-за моей глубокой, хоть и опрометчивой привязанности к тебе, из-за огромной жалости к недостаткам твоего характера и темперамента, из-за моего пресловутого добродушия и кельтской лени, из-за того, что мне как художнику были ненавистны плебейские скандалы и грубые слова, из-за полной неспособности обижаться, столь характерной для меня в те времена, из-за того, что мне неприятно было видеть, как уродуют и портят жизнь теми мелочами, которые мне, чей взор всегда был устремлен на другое, казались слишком ничтожными, чтобы уделять им какое бы то ни было внимание хотя бы на миг, - по всем этим несложным с виду причинам я всегда уступал тебе; как и следовало ожидать, твои притязания, твои попытки захватить власть, твои требования становились все безрассудней. Самые низкие твои побуждения, самые пошлые вкусы, самые вульгарные увлечения стали для тебя законом, и ты хотел подчинить им жизнь других людей, а если понадобится, был готов принести в жертву без малейших угрызений совести. Ты знал, что, устраивая мне сцену, всегда добьешься своего, и, как мне верится, сам того не сознавая, доходил в грубости и вульгарности до непозволительных крайностей. И в конце концов ты сам терял представление о том, чего ты добивался, чего ты от меня хотел. Завладев моим талантом, моей волей, моим состоянием, ты, в слепоте ненасытной алчности, хотел взять у меня абсолютно все. И ты все отнял. В ту трагическую, роковую пору моей жизни, перед тем как я совершил нелепейший шаг, меня, с одной стороны, стал преследовать твой отец, оставляя в моем клубе отвратительные записки, а с другой - ты начал преследовать меня не менее безобразными письмами. Ничего не могло быть хуже того твоего письма, которое я получил утром, перед тем как позволил тебе затащить меня в полицию и потребовать дурацкий ордер на арест твоего отца, - ты никогда не писал так гадко и по такому постыдному поводу. Из-за вас обоих я совсем потерял голову. Здравый смысл мне изменил. Все вытеснил ужас. Могу сказать откровенно, что я не видел никакой возможности избавиться от вас обоих. Я подчинился, я шел слепо, как вол идет на убой. Я сделал непростительный психологический промах. Я всегда считал, что уступать тебе в мелочах пустое и что, когда настанет решающая минута, я смогу вновь собрать всю присущую мне силу воли и одержать верх. Но ничего не вышло. В самую важную минуту сила воли изменила мне окончательно. В жизни нет ничего великого или малого. Все в жизни равноценно, равнозначно. Моя привычка, поначалу вызванная равнодушием, - уступать тебе во всем - неощутимо сделалась моей второй натурой. Сам того не сознавая, я допустил, чтобы эта перемена наложила постоянный и пагубный отпечаток на мой характер. Вот почему Уолтер Патер в тонком эпилоге первого издания своих статей говорит: "создавать себе привычки - ошибка". Когда он это написал, скучные оксфордские ученые решили, что это только свободная перифраза порядком наскучившего текста Аристотелевой "Этики", но в этих словах скрыта потрясающая страшная истина. Я позволил тебе подорвать силу моего характера, и, превратившись в привычку, это стало для меня не просто Ошибкой, но и Гибелью. Мои нравственные устои ты расшатал еще больше, чем основы моего творчества.

Когда тебе обещали ордер на арест отца, ты, разумеется, стал распоряжаться всем. В то время как мне следовало бы остаться в Лондоне, посоветоваться с умными людьми и спокойно рассудить, каким образом я позволил поймать себя в такую ловушку - в капкан - как до сих пор выражается твой отец, - ты настоял, чтобы я повез тебя в Монте-Карло самое гнусное место на белом свете, где ты день

и ночь играл в казино, до самого закрытия. А я - поскольку баккара меня не привлекает, - я был оставлен в полном одиночестве. Ты и пяти минут не хотел поговорить со мной о том положении, в которое я попал из-за тебя и твоего отца. Мне оставалось только оплачивать твой номер в отеле и твои проигрыши. Малейший намек на тяжкие испытания, ожидавшие меня, нагонял на тебя скуку. Очередная марка шампанского, которую нам рекомендовали, интересовала тебя куда больше. По возвращении в Лондон те из моих друзей, кто по-настоящему тревожился о моем благополучии, умоляли меня уехать за границу и уклониться от этого неслыханного судилища. Ты приписывал им подлые мотивы и обвинял меня в трусости за то, что я выслушивал их советы. Ты заставил меня остаться и, если выйдет, отвести от себя все обвинения бесстыдным и неправдоподобным лжесвидетельством на суде. Разумеется, в конце концов меня арестовали, и твой отец стал героем дня - нет, не только героем дня: теперь твоя семья попала в сонм Бессмертных, ибо из-за шутовских, хотя и мрачных прихотей истории - ведь Клио самая несерьезная из Муз - твой отец теперь навсегда останется среди добрых и благомыслящих героев книжек для воскресных школ, тебе будет отведено место рядом с отроком Самуилом, а я окажусь в самой глубокой трясине "Злых щелей", между маркизом де Садам и Жилем де Ретцем.

Конечно, я должен был избавиться от тебя. Конечно, я должен был бы вытряхнуть тебя из своей жизни, как вытряхивают из одежды ужалившее насекомое. В одной из лучших своих драм Эсхил рассказывает о вельможе, который вырастил в своем доме львенка, детеныша льва, и любит его за то, что тот, радостно блестя глазами, прибегает к нему и ласкается, выпрашивая подачку, - весело глядящий на руки, ласковый по принуждению желудка. Но зверь вырастает, в нем просыпается инстинкт его породы, нрав предков, уничтожает и вельможу, и его семью, и все, что им принадлежало.

Чувствую, что и я уподобился этому человеку. Но моя ошибка была не в том, что я с тобой не расстался, а в том, что я расставался с тобой слишком часто. Насколько я помню, я регулярно каждые три месяца прекращал нашу дружбу, и каждый раз, когда я это делал, ты ухитрялся мольбами, телеграммами, письмами, заступничеством твоих и моих друзей добиться, чтобы я позволил тебе вернуться. После того как в конце марта девяносто третьего года ты уехал из моего дома в Торки, я решил никогда больше с тобой не разговаривать и ни в коем случае не допускать тебя к себе, настолько безобразной была сцена, которую ты мне устроил вечером накануне отъезда. Ты писал и телеграфировал мне из Бристоля, умоляя простить тебя и повидаться с тобой. Твой воспитатель, который остался у меня, сказал, что временами ты бываешь совершенно невменяем и что многие педагоги в колледже св. Магдалины того же мнения. Я согласился встретиться с тобой и, конечно, простил тебя. Когда мы возвращались в Лондон, ты попросил, чтобы я повел тебя в "Савой". Эта встреча оказалась для меня роковой.

Три месяца спустя, в июне, мы были в Горинге. Несколько твоих друзей по Оксфордскому университету гостили у нас с субботы до понедельника. В то утро, когда они уехали, ты устроил мне сцену настолько дикую, настолько гнетущую, что я сказал, что нам надо расстаться. Я отлично помню, как мы стояли на ровной крокетной площадке, вокруг зеленел чудесный газон, и я старался объяснить тебе, что мы портим жизнь друг другу, что ты мою жизнь губишь совершенно, а я тоже не даю тебе настоящей радости, и что единственное мудрое, логическое решение - расстаться окончательно и бесповоротно. Позавтракав, ты уехал с мрачным видом, оставив для меня у привратника одно из самых оскорбительных писем. Но не прошло и трех дней, как ты телеграфировал из Лондона, умоляя простить тебя и позволить тебе вернуться. Дом был снят ради тебя. По твоей просьбе я пригласил твоих собственных слуг. Меня всегда страшно огорчало, что из-за своего ужасного характера ты становишься жертвой таких диких вспышек. Я был очень привязан к тебе. И я разрешил тебе вернуться и простил тебя. А еще через три месяца, в сентябре, начались новые скандалы. Поводом был мой отзыв о твоём переводе "Саломеи", когда я тебе указал на твои ученические ошибки. К тому времени ты уже

настолько знал французский, что и сам мог бы понять, насколько этот перевод недостоин не только тебя как оксфордского студента, но недостоин и оригинала, который ты пытался передать. Тогда ты, конечно, этого не признал, и в одном из самых резких писем по этому поводу ты говорил, что "никаким интеллектуальным влиянием" ты мне не обязан. Помню, что, читая эти строки, я почувствовал, что за все время нашей дружбы это была единственная правда, которую ты мне написал. Я понял, что человек духовно менее развитый соответствовал бы твоей натуре гораздо больше. Говорю об этом без горечи, - просто в этом сущность всякого содружества. Вель, в конечном счете, любое содружество, будь то брак или дружба, основано на возможности беседовать друг с другом, а такая возможность зиждется на общих интересах, тогда как у людей совершенно различного культурного уровня общие интересы обычно бывают самого низменного свойства. Тривиальность в мыслях и поступках - очаровательное качество. Я построил на нем блистательную философию моих пьес и парадоксов. Но вся накипь, вся нелепость нашей жизни часто становились мне в тягость; мы с тобой встречались только в грязи, на самом дне, и какой бы обольстительной, слишком обольстительной ни была единственная тема, к которой сводились все твои разговоры, мне она в конце концов стала приедаться. Порой мне становилось смертельно скучно, но я терпел и это, как терпел твое пристрастие к мюзик-холлам, твою манию бессмысленных излишеств в еде и питье, как и все неприятные мне черты твоего характера: с этим приходилось мириться - это была часть той дорогой цены, которую надо было платить за дружбу с тобой. Когда я, после Горинга, поехал на две недели в Динар, ты страшно рассердился на меня за то, что я не взял тебя с собой, непрестанно устраивал мне перед отъездом неприятнейшие сцены в отеле "Альбемарл", а потом послал несколько столь же неприятных телеграмм в имение, где я гостил несколько дней. Помнится, я тебе сказал, что твой долг - побыть некоторое время со своими родными, так как ты все лето провел вдали от дома. Но на самом деле, буду с тобой совершенно откровенен, я ни в коем случае не мог допустить тебя к себе. Мы пробыли вместе почти три месяца. Мне необходимо было передохнуть, освободиться от страшного напряжения в твоём присутствии. Мне непременно нужно было остаться наедине с собой. Отдых был мне интеллектуально необходим. Сознаю - тогда я решил, что то твое письмо, о котором я говорю выше, послужит отличным предлогом прекратить роковую дружбу, возникшую между нами, - и прекратить ее без всякой горечи, что я уже и пытался сделать в то солнечное утро, в Горинге, три месяца назад. И надо сознаться, что один из моих друзей, к которому ты обратился в трудную минуту, объяснил мне, какой обидой, более того - каким унижением для тебя было получить свой перевод обратно, словно школьную работу; мне было сказано, что я предъявляю слишком высокие требования к твоему интеллекту, и что бы ты ни писал и ни делал, все равно ты безраздельно и безоговорочно предан мне. Я не хотел мешать тебе в твоих литературных опытах, не хотел обескураживать тебя. Я отлично знал, что ни один переводчик, если сам он - не поэт, никогда не сможет в должной мере передать ритм и колорит моего произведения; но мне всегда казалось, да и до сих пор кажется, что нельзя так легко швыряться столь прекрасным чувством, как преданность, поэтому я вернул и перевод и тебя. Ровно через три месяца, после целого ряда скандалов, окончившихся совершенно безобразной сценой, когда ты явился в мой рабочий кабинет с двумя или тремя приятелями, я тут же, на следующее утро, буквально бежал от тебя за границу, под каким-то нелепым предлогом, которым я пытался успокоить свою семью, и оставил своим слугам фальшивый адрес, боясь, что ты бросишься вслед за мной. Помню, как в тот день, когда поезд уносил меня в Париж, я думал, в какой невыносимый, ужасный и абсолютно бессмысленный тупик зашла моя жизнь, когда мне, всемирно известному человеку, приходится тайком бежать из Англии, чтобы избавиться от дружбы, совершенно губительной для меня как в моральном, так и в интеллектуальном отношении; причем тот, от которого я бежал, был не какое-то исчадие помойных ям или зловонных трущоб, возникшее среди нас и ворвавшееся в мою жизнь, это был ты, юноша моего круга, который учился в том же оксфордском колледже, что и я, постоянный гость в моем доме. Ко мне, как всегда, полетели телеграммы, полные раскаяния; я не обращал на них внимания. Наконец, ты стал угрожать мне, что, если я не соглашусь с тобой повидаться, ты ни при каких обстоятельствах не

со согласишься уехать в Египет. Ты знал, что с твоего ведома и согласия я просил твою матушку отослать тебя из Англии в Египет, подальше от пагубной для тебя жизни в Лондоне. Я знал, что если ты не уедешь, это будет для нее ужасающим разочарованием, ради нее я согласился встретиться с тобой и под влиянием сильного чувства, о котором даже ты, наверно, не смог позабыть, простил тебе все прошлое, хотя не сказал ни слова о будущем. Помню, как, возвратившись в Лондон на следующий день, я сидел у себя в кабинете, грустно и сосредоточенно пытаюсь решить для себя - действительно ли ты такой, как казалось, вправду ли ты так чудовищно испорчен, так беспощадно губителен и для окружающих и для самого себя, так пагубно влияешь даже на случайных знакомых, не говоря о друзьях. Целую неделю я думал об этом и сомневался - не слишком ли я несправедлив к тебе, не ошибаюсь ли я в своей оценке? Но в конце недели мне вручают письмо от твоей матери. Все чувства, испытанные мной, были выражены в этом письме. В нем она говорила о твоём слепом и преувеличенном тщеславии, из-за которого ты презирал свою семью и называл своего старшего брата, эту candidissima anima [чистейшая душа (лат.)], филистером, рассказывала о твоей вспыльчивости, из-за которой она боялась говорить с тобой о жизни, о той жизни, которую, как она чувствовала и знала, ты ведешь, о твоём отношении к денежным делам, огорчавшим ее по многим причинам, о том, как ты деградировал, как изменился. Она, разумеется, понимала, что ты отягощен ужасной наследственностью и откровенно признавалась в этом, признавалась в отчаянии. "Из всех моих детей, - писала она о тебе, - он один унаследовал роковой темперамент Дугласов". В конце она писала, что считает своим долгом заявить, что наша дружба с тобой, по ее мнению, настолько раздула твоё тщеславие, что стала источником всех твоих дурных поступков, и настойчиво просила меня не встречаться с тобой за границей. Я тотчас же ответил ей, что согласен с каждым ее словом. Я еще многое добавил. Я был с ней откровенен - насколько это было возможным. Я рассказал ей, что наша дружба началась, когда ты еще учился в Оксфорде и пришел ко мне с просьбой помочь тебе выпутаться из очень серьезных неприятностей весьма личного характера. Я писал ей, что в твоей жизни такие неприятности возникали непрерывно. Тогдашнего своего приятеля ты считал виноватым в том, что тебе пришлось ехать в Бельгию. А твоя мать винила меня в том, что я тебя с ним познакомил. И я переложил вину на истинного виновника - на тебя. В конце письма я заверил ее, что не имею ни малейшего намерения встречаться с тобой за границей, и просил ее задержать тебя там как можно дольше, либо при посольстве, либо, если это не удастся, для изучения местных языков словом, просил ее найти любой способ удержать тебя за границей, по крайней мере, на два или три года, так же ради тебя, как и ради меня. А между тем с каждой почтой я получал от тебя письма из Египта.

Я и не думал отвечать ни на одно твое послание. Я их прочитывал и рвал. Решение было принято, и я с радостью отдался Искусству, от которого я позволял тебе отрывать меня. Через три месяца твоя мать, чье несчастное слабование, столь для нее характерное, сыграло в трагедии моей жизни роль не менее роковую, чем самодурство твоего отца, вдруг сама пишет мне, - и я несколько не сомневаюсь, по твоему настоянию, - что ты очень хочешь получить от меня письмо, и для того, чтобы у меня не было предлога отказаться от переписки с тобой, посылает мне твой адрес в Афинах, который был мне отлично известен. Сознаюсь, что это письмо удивило меня до чрезвычайности. Я не мог понять, как после того, что она мне писала в декабре, и после моего ответа на это ее письмо она решилась таким способом возобновить или восстановить мою злополучную дружбу с тобой. Конечно, я ответил ей на письмо и снова стал уговаривать ее достать тебе место в каком-нибудь посольстве за границей, чтобы помешать тебе вернуться в Англию, но тебе я писать не стал и по-прежнему, как и до письма твоей матери, не обращал никакого внимания на твои телеграммы. В конце концов ты взял и телеграфировал моей жене, умоляя ее употребить все свое влияние и заставить меня написать тебе. Наша дружба всегда огорчала ее, не только потому, что ты никогда ей не нравился, но потому, что она видела, как наши постоянные встречи вызывали во мне перемену - и не к лучшему; и все же она всегда была необычайно мила и гостеприимна по отношению к тебе, и теперь ей невыносимо было думать, что я в

чем-то, как ей казалось, жесток к кому-нибудь из своих друзей. Она считала, - нет, твердо знала, - что такое отношение не в моем характере. И по ее просьбе я ответил тебе. Я помню содержание моей телеграммы дословно. Я сказал, что время излечивает все раны, но что еще много месяцев я не стану ни писать тебе, ни видиться с тобой. Ты немедленно выехал в Париж, посылая мне с дороги безумные телеграммы и умоляя меня во что бы то ни стало встретиться там с тобой. Я отказался. Ты приехал в Париж в субботу вечером; и в гостинице тебя ждало мое письмо о том, что я не хочу тебя видеть. На следующее утро я получил на Тайт-стрит телеграмму на десяти или одиннадцати страницах. В ней говорилось, что какое бы зло ты мне не причинил, ты все равно не веришь, что я откажусь встретиться с тобой, ты напоминал мне, что ради такой встречи хоть на час ты ехал шесть дней и ночей через всю Европу, нигде на задерживаясь, умолял меня жалобно и, должен сознаться, очень трогательно и кончал весьма недвусмысленной угрозой покончить с собой. Ты сам часто рассказывал мне, сколько человек в твоём роду обагрили руки собственной кровью: твой дядя - несомненно и, возможно, твой дед, да и много других из безумного, порочного семейства, породившего тебя. Жалость, моя старая привязанность к тебе, забота о твоей матери, для которой твоя смерть при таких жутких обстоятельствах была бы смертельным ударом, ужас при мысли, что такая юная жизнь вдруг так страшно оборвется, - жизнь, у которой, при всех ее уродливых недостатках, еще есть надежда стать прекрасной; даже простая человечность, - все это пусть послужит, если это необходимо, оправданием того, что я согласился объясниться с тобой в последний раз. Но когда я приехал в Париж, ты весь вечер так плакал, слезы так часто текли у тебя по щекам, текли дождем, и во время обеда у Вуазена, и за ужином у Пайяра твоя радость от встречи со мной была так непритворна, ты все время брал мою руку, как ласковый, виноватый ребенок, и так искренне, так непосредственно каялся, что я согласился возобновить нашу дружбу. Через два дня после нашего возвращения в Лондон твой отец увидел нас за завтраком в "Кафе-Рояль", подсел к моему столику, пил вино вместе со мной, а к вечеру, в письме, обращенном к тебе, начал впервые нападать на меня. Удивительным образом обстоятельства едва ли не силой вновь навязали мне не хочу сказать - возможность, скорее - долг - окончательно расстаться с тобой. Вряд ли надо напоминать тебе, что я имею в виду твое поведение в Брайтоне, от десятого до тринадцатого октября 1894 года. Наверное, для тебя то, что было три года назад, - давнее прошлое. Но для нас, обитателей тюрьмы, чья жизнь лишена всякого содержания, кроме скорби, время измеряется приступами боли и отсчетом горестных минут. Больше нам думать не о чем. Может быть, странно это слышать, но страдание для нас - способ существования, потому что это единственный способ - осознать, что мы еще живы, и воспоминание о наших былых страданиях нам необходимо, как порука, как свидетельство того, что мы остались самими собой. Между мной и воспоминанием о счастье лежит такая же глубокая пропасть, как между мной и подлинным счастьем. Если бы наша жизнь с тобой была такой, какой ее воображали все, - сплошным удовольствием, легкомыслием и весельем, я не мог бы сейчас припомнить ни одного момента. Лишь оттого, что в нашей жизни было столько минут и дней трагических, горьких, предрекавших беду, столько тягостных и гадких в своем однообразии сцен и непристойных вспышек, лишь потому я так подробно вижу и слышу каждую сцену, лишь потому не вижу и не слышу почти ничего иного. Здесь человек живет в таких мучениях, что я вынужден вспоминать о нашей с тобой дружбе только как о прелюдии, звучащей в том же ключе, что и те постоянные вариации мучительной тоски, которые я слышу в себе ежедневно; нет, более того, она - первопричина всего, как будто вся моя жизнь, какой бы она ни казалась и мне самому и другим, на самом деле всегда была подлинною Симфонией Страдания, движущейся в ритмической постепенности к разрешению с той неизбежностью, которая в искусстве присуща трактовке всех великих тем.

Но, кажется, я говорил о том, как ты вел себя по отношению ко мне в те три дня, три года тому назад? Тогда, в Уэртинге, в одиночестве, я пытался окончить пьесу. Два раза ты ко мне приезжал - и наконец уехал. Вдруг ты явился в третий раз и привез с собой товарища, причем настаивал, чтобы он

остановился у меня в доме. Я наотрез отказался и, ты должен признать, вполне обоснованно. Конечно, я вас принимал, - тут выхода не было, но не у себя, не в своем доме. На следующий день, в понедельник, твой товарищ вернулся к своим профессиональным обязанностям, а ты остался у меня. Но тебе надоел Уэртинг и еще больше надоели, я уверен, мои бесплодные попытки сосредоточить все мое внимание на пьесе - единственном, что меня тогда интересовало, - и ты настаивал, чтобы я повез тебя в Брайтон, в "Гранд-отель". Вечером, как только мы приехали, ты заболел той ужасной ползучей лихорадкой, которую глупо называют инфлуэнцей, - у тебя это был не то второй, не то третий приступ. Не буду тебе напоминать, как я за тобой ухаживал, как баловал тебя не только фруктами, цветами, подарками, книгами, - словом, всем, что можно купить за деньги, но и окружал заботой, нежностью, любовью - тем, что ни за какие деньги не купишь, хотя ты, быть может, думаешь иначе. Кроме часовой прогулки утром и выезда на час после обеда, я не выходил из отеля. Я специально выписал для тебя из Лондона виноградаря, потому что тебе не нравился тот, что подавали в отеле, выдумывал для тебя удовольствия, сидел у твоей постели или в соседней комнате, проводил с тобой все вечера, успокаивая и развлекая тебя. Через четыре-пять дней ты выздоровел, и я снял квартиру, чтобы попытаться кончить пьесу. Разумеется, ты поселяешься со мной. Но не успели мы устроиться, как я почувствовал себя совсем скверно. Тебе надо ехать в Лондон по делу, но ты обещаешь к вечеру вернуться. В Лондоне ты встречаешь приятеля и возвращаешься в Брайтон только поздно вечером на следующий день, когда я лежу в жару, и доктор говорит, что я заразился инфлуэнцей от тебя. Ничего не могло быть хуже для больного человека, чем та моя квартира. Гостиная была внизу, на первом этаже, моя спальня - на третьем. Слуг в доме не было, некого было даже послать за лекарством, прописанным врачом. Но ты со мной. Я ни о чем не тревожусь. А ты два дня подряд даже не заходил ко мне, ты меня бросил одного, - без внимания, без помощи, без всего. Речь шла не о фруктах, не о цветах, не о прелестных подарках - но о самом необходимом. Я не мог получить даже молоко, которое доктор велел мне пить: про лимонад ты заявил, что его нигде нет, когда же я попросил тебя купить мне книжку, а если в лавке не окажется того, что я хотел, принести что-нибудь еще, ты даже не потрудишься зайти в лавку. Когда я из-за этого на весь день остался без чтения, ты спокойно сказал, что книгу ты купил и что книготорговец обещал ее прислать: все, как я потом совершенно случайно узнал, оказалось ложью с первого до последнего слова. Все это время ты, конечно, жил на мой счет, разъезжая по городу, обедая в "Гранд-отеле", и заходил ко мне в комнату, собственно говоря, только за деньгами. В субботу вечером, когда ты оставил меня без помощи одного на целый день, я попросил тебя вернуться после обеда и немного посидеть со мной. Раздраженным тоном, очень нелюбезно, ты обещал вернуться. Я прождал до одиннадцати вечера, но ты не явился. Тогда я оставил записку у тебя в спальне, напоминая тебе о том, что ты обещал и как сдержал свое обещание. В три часа ночи, измученный бессонницей и жаждой, я спустился в полной темноте в холодную гостиную, надеясь найти там графин с водой - и застал там тебя. Ты накинулся на меня с отвратительной бранью, - только самый распущенный, самый невоспитанный человек мог так дать себе волю. Пустив в ход всю чудовищную алхимию себялюбия, ты превратил угрызения совести в бешеную злость. Ты обвинял меня в эгоизме за мою просьбу побыть со мной во время болезни, упрекал за то, что я мешаю твоим развлечениям, пытаюсь лишить тебя всех удовольствий. Ты заявил, - и я понял, насколько это верно, - что ты вернулся в полночь, только чтобы переодеться и пойти туда, где, как ты надеялся, тебя ждут новые удовольствия, но из-за моей записки, с упреками за то, что ты бросил меня на целый день и на весь вечер, у тебя пропала всякая охота веселиться, и что из-за меня ты лишился всякой способности вновь наслаждаться жизнью. С чувством отвращения я поднялся к себе и до рассвета не мог заснуть и еще дольше не мог утолить жажду, мучившую меня от лихорадки. В одиннадцать утра ты пришел ко мне в комнату. Во время недавней сцены я не мог не подумать, что своим письмом я, по крайней мере, удержал тебя от поступков, переходящих всякие границы и утром ты пришел в себя. Разумеется, я ждал, когда и как ты начнешь оправдываться и каким образом станешь просить прощения, уверенный в глубине души, что оно тебя ждет неизбежно, что бы ты ни натворил; эта твоя безоговорочная вера в то, что я тебя всегда прощу,

была именно той чертой, которую я больше всего ценил, может быть, самой ценной твоей чертой вообще. Но ты и не подумал извиниться, наоборот, ты снова устроил мне еще более грубую сцену, в еще более резких выражениях. В конце концов я велел тебе уйти. Ты сделал вид, что уходишь, но, когда я поднял голову с подушки, куда я упал ничком, ты все еще стоял тут и вдруг, дико захохотав, в истерическом бешенстве бросился ко мне. Неизвестно почему, ужас охватил меня, я вскочил с постели и босиком, в чем был, бросился вниз по лестнице в гостиную и не выходил оттуда, пока хозяин дома, которого я вызвал звонком, не уверил меня, что ты ушел из моей спальни; он обещал оставаться неподалеку, на всякий случай. Прошел час, у меня за это время побывал доктор и, конечно, нашел меня в состоянии глубокого нервного шока и в гораздо худшем виде, чем в начале заболевания; после чего ты вернулся, молча взял все деньги, какие нашлись на столике и на камине, и ушел из дому, забрав свои вещи. Говорить ли, что я передумал о тебе за эти два дня, больной, в полном одиночестве? Нужно ли подчеркивать, что мне стало совершенно ясно: поддерживать даже простое знакомство с таким человеком, каким ты себя показал, будет для меня бесчестьем? Говорить ли, что я увидел - и увидел с величайшим облегчением, - что настал решающий момент? Что я понял, насколько мое Искусство и моя жизнь впредь будут свободнее, лучше и прекраснее во всех отношениях? И, несмотря на болезнь, я почувствовал облегчение. Поняв, что теперь наш разрыв непоправим, я успокоился. Ко вторнику мне стало лучше, и я впервые спустился вниз пообедать. В среду был мой день рождения. Среди телеграмм и писем я нашел у себя на столе письмо и узнал твой почерк. Я распечатал его с грустью. Я знал, что прошло то время, когда милая фраза, ласковое слово, выражение раскаяния могли заставить меня позвать тебя обратно. Но я глубоко обманулся. Я тебя недооценил. Письмо, которое ты прислал мне к дню рождения, было настойчивым повторением всего, что ты говорил раньше, все упреки были хитро и тщательно выписаны черным по белому. В пошлых и грубых выражениях ты снова издевался надо мной. Вся эта история доставила тебе единственное удовольствие - перед отъездом в город ты записал на мой счет последний завтрак в "Гранд-отеле". Ты похвалил меня за то, что я успел соскочить с кровати и стремительно броситься вниз. "Для вас это могло плохо кончиться, - писал ты, - хуже, чем вы себе воображаете". Да, я понял это тогда же, слишком хорошо понял! Я не знал, что мне грозило: то ли у тебя был тот револьвер, который ты купил, чтобы попробовать напугать своего отца, и, не зная, что он заряжен, выстрелил как-то при мне в зале ресторана, то ли твоя рука потянулась к обыкновенному столовому ножу, который случайно лежал между нами, на столике, то ли, позабыв в припадке ярости о том, что ты ниже ростом и слабее меня, ты собирался как-нибудь особенно оскорбить, может быть, даже ударить меня, больного человека. Ничего я не знал, не знаю и до сих пор. Знаю я только одно: меня охватил беспредельный ужас и я почувствовал, что, если я сейчас же не спасусь бегством, ты сделаешь или попытаешься сделать что-нибудь такое, от чего даже тебя до конца твоих дней мучил бы стыд. Только раз в жизни я испытал такой же ужас перед человеком. Это было, когда в мою библиотеку на Тайт-стрит в припадке бешенства ворвался твой отец со своим вышибалой или приятелем и, размахивая коротенькими ручками, брызжа слюной, выкрикивал все грязные слова, какие рождались в его грязной душе, все гнусные угрозы, которые он потом так хитро привел в исполнение. Но, разумеется, тогда выйти из комнаты пришлось не мне, а ему. Я его выставил. От тебя я ушел сам. Не впервые мне пришлось спасать тебя от тебя самого.

Ты закончил письмо такими словами: "Когда вы не на пьедестале, вы никому не интересны. В следующий раз, как только вы заболите, я немедленно уеду". Какая же грубость душевной ткани сказывается в этих словах! Какое полное отсутствие воображения! Каким черствым, каким вульгарным стал твой характер! "Когда вы не на пьедестале, вы никому не интересны. В следующий раз, как только вы заболите, я немедленно уеду". Сколько раз в омерзительных одиночках разных тюрем, куда меня сажали, я вспоминал эти слова! Я повторял их про себя и думал, хотя, быть может, и несправедливо, что в них кроется причина твоего странного молчания. То, что ты мне написал, когда я и болел только потому, что заразился, ухаживая за тобой, было, конечно, гадко, грубо и жестоко с

твоей стороны, но для любого человека писать так другому было бы грехом непростительным, если только существуют грехи, которым нет прощения. Должен сознаться, что, прочитав твое письмо, я почти физически почувствовал себя замаранным, словно, общаясь с человеком такого пошиба, я навеки непоправимо осквернил и покрыл позором всю свою жизнь. Конечно, мысль была верная, но до какой степени верная, об этом я узнал только через полгода. А тогда я решил вернуться в пятницу в Лондон, повидаться лично с сэром Джорджем Льюисом и просить его написать твоему отцу и сообщить ему, что я решил ни в коем случае не пускать тебя в свой дом, не позволять тебе садиться со мной за стол, говорить со мной, гулять со мной, - словом, никогда и нигде не бывать в твоём обществе. После этого я написал бы тебе, только для того чтобы уведомить тебя о принятом мной решении, причину которого ты неизбежно должен был бы понять. В четверг вечером у меня все уже было готово, когда в пятницу утром, завтракая перед отъездом, я случайно развернул газету и увидел телеграмму, где говорилось, что твой старший брат, истинный глава семьи, наследник титула, опора всего дома, был найден в канаве, мертвый, а рядом с ним лежал его разряженный револьвер. Ужасающие обстоятельства, при которых разыгралась эта драма, - несчастный случай, как выяснилось впоследствии, но тогда связывавшийся с самыми мрачными предположениями, горечь при мысли о внезапной смерти юноши, столь любимого всеми, кто его знал, почти накануне его женитьбы, представление о том, каким горем стала или должна была стать для тебя эта потеря, мысль о том, что значит для твоей матери смерть сына, который был ей утешением, радостью в жизни и, как она сама мне однажды сказала, никогда, с самого дня рождения, не заставил ее пролить ни одной слезы; то, что я понимал, как ты сейчас одинок, потому что оба твои брата уехали в Европу, и твоей матери, твоей сестре больше не к кому, кроме тебя, обратиться не только за поддержкой в их горе, но и за помощью в тех горестных и страшных обязанностях, которые Смерть налагает на нас, заставляя заботиться о мрачных мелочах; живое ощущение *lacrimae rerum* [слезы по поводу разных обстоятельств (лат.)], - все эти чувства и мысли, обуревавшие меня в тот час, вызвали во мне бесконечную жалость к тебе и твоей семье. Забылась вся горечь, вся моя обида на тебя. Я не мог обойтись с тобой в твоём несчастье так, как ты обошелся со мной во время моей болезни. Я тотчас же послал тебе телеграмму с выражением глубочайшего соболезнования, а в письме, посланном вслед за этим, пригласил тебя к себе, как только ты сможешь приехать. Я чувствовал, что, если оттолкнуть тебя в такую минуту, да еще официально, через моего поверенного в делах, это будет слишком тяжело для тебя. Вернувшись в город оттуда, где произошла эта трагедия, ты сразу пришел ко мне, такой милый и простой, в трауре, с покрасневшими от слез глазами. Ты искал помощи и утешения, как ищет их дитя. Я снова принял тебя в свой дом, в свою семью, в свое сердце. Я разделил твою горе, чтобы тебе стало легче снести его, ни разу, не единым словом, я не напомнил тебе о твоём поведении, о возмутительных сценах, возмутительном письме. Мне казалось, что горе твое, настоящее горе, больше, чем когда-либо, сблизило нас с тобой. Цветы, которые ты взял от меня, чтобы положить на могилу брата, должны были стать символом не только его прекрасной жизни, но и красоты, что скрыта в любой жизни, в той глубине, откуда ее можно вызвать на свет.

Странно ведут себя боги. Не только наши пороки избирают они орудием, чтобы карать нас. Они доводят нас до гибели с помощью всего, что в нас есть доброго, светлого, человеческого, любящего. Если бы не моя жалость, не моя привязанность к тебе и твоим близким, я не плакал бы сейчас в этом ужасном месте. Конечно, в наших отношениях я вижу не только перст Судьбы, но и поступь Рока, чей шаг всегда стремителен, ибо он спешит на пролитие крови.

По отцу - ты потомок того семейства, браки с которым опасны, дружба губительна, того семейства, которое в ярости налагает руки на себя или на других. В самых незначительных случаях, в которых мы сталкивались с тобой, при всех обстоятельствах, будь они с виду важными или пустячными, когда ты приходил ко мне за помощью или ради удовольствия, в ничтожных случаях, в мелких происшествиях, которые по сравнению с жизнью кажутся лишь пылинками, пляшущими в

солнечном луче, или листком, летящим с дерева, везде, за всем таилась Гибель, как отзвук отчаянного вопля, как тень, что крадется за хищным зверем. Наша дружба, в сущности, началась с того, что ты в трогательном и милом письме попросил меня помочь тебе выпутаться из неприятной истории, скверной для любого человека и вдвойне ужасной для молодого оксфордского студента. Я все сделал, и это кончилось тем, что ты назвал меня своим другом в разговоре с сэром Джорджем Льюисом, из-за чего я стал терять его уважение и дружбу - дружбу пятнадцатилетней давности. Лишившись его советов, помощи и доброго отношения, я лишился единственной надежной поддержки в своей жизни.

Затем ты посылаешь мне на суд очень милые стихи - типичный образчик юношеской студенческой поэзии. Я отвечаю очень доброжелательно, с фантастическими литературными гиперболами. Я сравниваю тебя то с Гиласом, то с Ганимедом и Нарциссом, - словом, с теми, кого великий бог поэзии озарил дружбой, почтил своей любовью. Письмо походит на сонет Шекспира, только в несколько более минорном ключе. Понять его мог только тот, кто прочел "Пир" Платона или уловил дух той строгой торжественности, что греки воплотили для нас в прекрасном мраморе. Скажу тебе откровенно, что такое письмо, написанное в приятном, хотя и прихотливом стиле, я мог бы адресовать любому милому юноше из любого университета, пославшему мне стихи собственного сочинения, в полной уверенности, что он достаточно умен и начитан, чтобы правильно истолковать все эти причудливые образы. Вспомни же судьбу моего письма! Из твоих рук оно переходит в руки твоего отвратительного приятеля: от него - к шайке шантажистов: копии рассылаются по всему Лондону моим друзьям, попадают и к директору театра, где ставится моя пьеса: письмо толкуется как угодно, только не так, как надо. Общество возбуждено: пошел слух, что мне пришлось заплатить огромную сумму за то, что я написал тебе непристойное письмо, и это впоследствии послужило основанием для безобразнейшего выпада, сделанного против меня твоим отцом. Я предъявляю на суде оригинал письма, чтобы доказать его истинный смысл, но адвокат твоего отца объявляет письмо гнусной и преступной попыткой развратить Невинность, и в конце концов оно становится частью уголовного обвинения, которое выдвигает против меня прокурор, судья излагает письмо в выражениях, свидетельствующих о низком культурном, но высоком моральном уровне обвинителей, и в конечном итоге меня за это сажают в тюрьму. Вот что вышло из-за того, что я написал тебе столь очаровательное послание.

Когда мы с тобой были в Солсбери, ты все время волновался, потому что один из твоих старых приятелей послал тебе угрожающее письмо; ты упросил меня повидать его, помочь тебе; мне это сулило гибель: мне пришлось взять на себя всю твою вину и быть за все в ответе. Когда ты провалился на выпускном экзамене в Оксфорде и тебе пришлось уйти из университета, ты телеграфировал мне в Лондон и просил приехать к тебе. Я немедленно еду, и ты просишь взять тебя с собой в Горинг, так как при таких обстоятельствах тебе не хочется ехать домой: в Горинге тебе очень приглянулся один дом; я снимаю его для тебя - мне и это сулило гибель во всех смыслах. Однажды, придя ко мне, ты стал упрашивать меня написать что-нибудь для оксфордского студенческого журнала - его собирался издавать кто-то из твоих друзей, которого я никогда в глаза не видал и ничего о нем не знал. Ради тебя - а чего я только не делал ради тебя? - я отослал ему страничку парадоксов, первоначально предназначенных для "Сатердей ревю". Через несколько месяцев я уже стою перед судом в Олд Бэйли из-за направления этого журнала. На этом отчасти и построены уголовные обвинения против меня. Мне приходится защищать прозу твоего приятеля и твои собственные стихи. Проза эта мне отвратительна, а твои стихи я стал горячо защищать, готовый на любые жертвы из беспредельной преданности тебе и твоим юношеским литературным опытам и ради всей твоей молодой жизни. Я даже слышать не хотел о том, что ты пишешь непристойности. И все же я попал в тюрьму и за студенческий журнал твоего приятеля, и за "Любовь, что не смеет по имени себя назвать". К Рождеству я послал тебе "прелестный подарок", как ты сам назвал его в благодарственном письме; я знал, что тебе очень хотелось получить эту вещь, стоившую не больше сорока или пятидесяти фунтов. Но когда

жизнь моя пошла прахом и я разорился, судебный исполнитель, описавший мою библиотеку и пустивший ее с молотка, сказал, что сделал это для оплаты "прелестного подарка". Именно из-за этого судебный исполнитель и явился в мой дом. В тот последний ужасный час, когда ты надо мной издеваешься и своими издевками хочешь заставить меня подать в суд на твоего отца и посадить его под арест, я хватаюсь за последнюю соломинку, чтобы спастись от этого, и говорю, что это непосильные для меня расходы. В твоём присутствии я заявляю поверенному, что у меня нет средств, что я никак не могу себе позволить такие траты, что денег мне взять неоткуда. Ты прекрасно знаешь, что все это правда. И что вместо того, чтобы в ту роковую пятницу, в конторе Гэмфри, наперекор себе, безвольно дать гибельное для меня согласие, я мог бы, счастливый и свободный, быть во Франции, вдали и от тебя, и от твоего отца, ничего не зная о его гнусной записке, не обращать внимания на твои письма, - будь я только в состоянии уехать из отеля "Эвондейл". Но меня наотрез отказались выпустить оттуда. Ты пробыл там со мной десять дней, да еще, к моему великому и, признайся, справедливому возмущению, поселил там же - за мой счет - своего приятеля, и этот счет за десять дней возрос почти до ста сорока фунтов. Хозяин отеля сказал, что не разрешит мне забрать вещи, пока я не оплачу этот счет полностью. Из-за этого я и задержался в Лондоне. Если бы не счет в отеле, я уехал бы в Париж в четверг утром.

Когда я сказал твоему поверенному, что не в силах оплатить гигантские расходы, ты вмешался немедленно. Ты сказал, что твоя семья будет счастлива взять все расходы на себя, что твой отец - злой гений всей семьи, что у вас давно обсуждалась возможность поместить его в психиатрическую больницу, чтобы убрать его из дому, что он каждодневно причиняет твоей матери огорчения, приводит ее в отчаяние, что, если я помогу посадить его в тюрьму, вся семья будет считать меня защитником и благодетелем и что богатая родня твоей матери с восторгом возьмет на себя все связанные с этим расходы. Поверенный немедленно все оформил, и меня тотчас же проводили в полицию. Отказаться я уже не мог. Меня заставили начать дело. Конечно, твоя семья никаких расходов на себя не берет, и меня объявляют банкротом, по требованию твоего отца, именно из-за судебных издержек, примерно в сумме семисот фунтов. Сейчас моя жена, разошедшись со мной по вопросу - должно ли мне иметь на жизнь три фунта и десять шиллингов в неделю, готовится начать дело о разводе, для чего, конечно, понадобятся новые данные и совершенно новое разбирательство, а может быть, и более серьезная судебная процедура. Сам я, разумеется, никаких подробностей не знаю. Мне известно только имя главного свидетеля, на чьи показания опираются адвокаты моей жены. Это твой собственный слуга из Оксфорда, которого я, по твоей особой просьбе, взял к себе на службу летом, когда мы жили в Горинге.

Но, право, не стоит приводить примеры того, как ты роковым образом постоянно навлекал на меня несчастье и в мелочах, и в серьезных случаях. Иногда у меня возникает ощущение, что ты был только марионеткой в чьей-то тайной и невидимой руке, заставлявшей тебя доводить зловещие события до зловещей развязки. Но и марионетками владеют страсти. Они вводят в пьесу новый сюжет и по своей прихоти поворачивают естественное развитие хода пьесы по своей воле, себе на потребу. Быть совершенно свободным и в то же время полностью зависеть от закона - вот вечный парадокс в жизни человека, ощутимый каждую минуту; и я часто думаю, что в этом и лежит единственное объяснение твоего характера, если вообще существует хоть какое-то объяснение глубинных и жутких тайн человеческой души, кроме единственного объяснения, от которого эти тайны становятся еще более непостижимыми.

Конечно, были у тебя и свои иллюзии, и сквозь их зыбкий туман и цветную дымку ты видел все искаженным. Прекрасно помню, что твоя исключительная преданность мне, при полном пренебрежении к твоей семье, к домашней жизни, была, по твоему мнению, доказательством того, что ты так изумительно ко мне относишься, так меня ценишь. Несомненно, тебе так и казалось. Но вспомни, что со мной была связана роскошная жизнь, множество удовольствий, развлечений,

безудержная трата денег. Дома тебе было скучно. "Холодное и дешевое вино Солсбери", как ты сам говорил, было тебе не по вкусу. А у меня, вместе с интеллектуальными интересами, ты вкушал от яств египетских. Когда же ты не мог быть со мной, общество твоих приятелей, которыми ты пытался заменить меня, делало тебе мало чести.

Ты также считал, что, посылая своему отцу через поверенного письмо, где говорилось, что ты скорее откажешься от тех двухсот пятидесяти фунтов в год, которые, кажется, за вычетом твоих оксфордских долгов, он тебе выдавал, чем порвешь твою нерасторжимую дружбу со мной, ты проявил самые рыцарские чувства, поднялся до благороднейшего самопожертвования. Но отказ от этой незначительной суммы вовсе не означал, что ты готов отказаться от малейшей прихоти и не сорить деньгами на совершенно излишнюю роскошь. Напротив. Никогда ты так не жаждал жить в роскоши и богатстве. За восемь дней в Париже я истратил на себя, на тебя и на твоего слугу-итальянца почти сто пятьдесят фунтов. Одному Пайяру было заплачено восемьдесят пять фунтов. При твоём образе жизни, даже если бы не обедал в одиночку и жестоко экономил на своих мелких развлечениях, твоего годового дохода тебе едва хватило бы на три недели. То, что ты с таким явным вызовом отказался от отцовской помощи, какой бы скромной она ни была, наконец послужило тебе, как ты считал, достаточным оправданием, чтобы жить на мой счет, и ты этим много раз пользовался всерьез и в полной мере давал себе волю; и то, что ты непрестанно тянул деньги, главным образом, конечно, с меня, но отчасти, как я узнал, и со своей матери, было особенно тягостно для меня, потому что ты никогда ни в чем не знал удержу, не находил ни единого слова благодарности.

Ты также считал, что, забрасывая своего отца угрожающими письмами, оскорбительными телеграммами и обидными открытками, ты становишься на сторону своей матери, выступаешь в роли ее защитника и мстишь за все те горести и страшные обиды, которые она перенесла от отца. Это было большое заблуждение, может быть, одно из самых худших заблуждений в твоей жизни. Если ты хотел отплатить твоему отцу за зло, которое он причинил твоей матери, и считал это своим сыновним долгом, ты должен был бы стать для своей матери гораздо лучшим сыном, чем ты был, тогда она не боялась бы говорить с тобой о важных делах, ты должен был не заставлять ее оплачивать твои долги, не мучить ее. Твой брат Фрэнсис всегда утешал ее в горе, он был с ней так ласков и добр в течение всей своей недолгой, рано отцветшей жизни. Тебе надо было взять с него пример. Неужели ты мог вообразить, что, если бы тебе удалось посадить отца в тюрьму, твоя мать была бы рада и счастлива? Ты и тут ошибался, в этом я уверен. А если хочешь знать, что испытывает женщина, когда ее муж, отец ее детей, сидит в тюремной камере в тюремной одежде, напиши моей жене, спроси у нее. Она тебе все расскажет.

И у меня были свои иллюзии. Я думал, что жизнь будет блистательной комедией и что ты будешь одним из многих очаровательных актеров в этой пьесе. Но я увидел, что она стала скверной и скандальной трагедией и что ты сам был причиной зловещей катастрофы, зловещей по своей целенаправленности и злой воле, сосредоточенной на одной цели. С тебя была сорвана личина воплощенной радости и наслаждения, та маска, что так обманывала и сбивала с пути и тебя и меня. Теперь ты, если только сможешь, поймешь хоть немного, как я страдаю. В какой-то газете, кажется в "Пэлл-Мэлл", в рецензии на генеральную репетицию одной из моих пьес, про тебя было сказано, что ты следовал за мной, как тень; теперь воспоминание о нашей дружбе тенью преследует меня здесь, оно никогда меня не покидает, оно будит меня ночью, без конца повторяя одну и ту же повесть, и гонит сон до самого рассвета; а на рассвете этот голос снова звучит, он преследует меня и в тюремном дворе, где я на ходу что-то бормочу сам себе; каждую мелочь страшных ссор я вынужден вспоминать, нет ни одной подробности из того, что случалось за эти годы, которая не воскресала бы в тех закоулках мозга, где гнездятся скорбь и страдание; каждый резкий звук твоего голоса, каждый жест, вздрагивание твоих нервных рук, каждое злое слово, каждая ядовитая фраза вновь приходят на память;

я вспоминаю все улицы и все набережные, где мы проходили, все стены комнат, все леса, окружавшие нас, помню, в каком месте циферблата стояли стрелки часов, куда несся на крыльях ветер, каков был цвет лунного лика.

Знаю, что есть лишь один ответ на все, что я тебе говорю: ты меня любил все эти два с половиной года, когда Судьба сплетала в один алый узор нити наших отдельных жизней, ты и вправду любил меня. Да, знаю, что это так. Как бы ты ни вел себя со мной, я всегда чувствовал, что в глубине души ты действительно меня любишь. И хотя я очень ясно видел, что мое положение в мире искусства, интерес, который я всегда вызывал у людей, мое богатство, та роскошь, в которой я жил, тысяча и одна вещь, которые делали мою жизнь такой очаровательной и такой обаятельно неправдоподобной, все это, в целом и в отдельности, чаровало тебя, привязывало ко мне; но, кроме всего этого, что-то еще более сильное влекло тебя ко мне, и ты любил меня гораздо больше, чем кого бы то ни было. Тебя и меня постигла в жизни страшная трагедия, хотя твоя трагедия была непохожа на мою. Хочешь знать, в чем она заключалась? Вот в чем: Ненависть в тебе всегда была сильнее Любви. Твоя ненависть к отцу была столь велика, что совершенно пересиливала, превышала, затмевала твою любовь ко мне. Эти чувства не боролись или почти не боролись меж собой, до таких размеров доходила твоя Ненависть, так чудовищно она разрасталась. Ты не понимал, что двум таким страстям нет места в одной душе. Им не ужиться в этих светлых покоях. Любовь питается воображением, от которого мы, сами того не сознавая, становимся мудрее, лучше, сами того не чувствуя, становимся благороднее, чем мы есть; в воображении мы можем охватить жизнь во всей полноте; оно и только оно помогает нам понять других как в их реальных, так и в их идеальных отношениях. Только прекрасное и понимание прекрасного питает Любовь. Ненависть может питаться чем попало. Не было ни одного бокала шампанского, ни одного вкусного блюда, которое ты съел за эти годы, которое не питало бы твою ненависть, не утучняло бы ее. И в угоду ей ты играл моей жизнью, как играл на мои деньги, беспечно, безоглядно, не думая о последствиях. Когда ты проигрывал, ты считал, что проигрыш не твой, когда выигрывал, ты знал, что тебе достанется все ликование, вся радость победы.

Ненависть ослепляет человека. Ты этого не понимал. Любовь может прочесть письма и на самой далекой звезде, но ты был так ослеплен Ненавистью, что не видел ничего за стенами твоего тесного, обнесенного стеной вертограда - уже иссушенного излишествами твоих низменных страстей. Ужасающее отсутствие воображения - этот поистине роковой порок твоего характера - было исключительно плодом Ненависти, заполонившей тебя. Неслышно, незаметно и невидимо Ненависть подтачивала твою душу, как ядовитый лишайник - корни большого слабого растения, и ты уже ничего не видел, ничем не интересовался, кроме самых мелочных дел, самых жалких прихотей. Все то, что Любовь взрастила бы в тебе. Ненависть отравляла и умерщвляла. Когда твой отец впервые стал нападать на меня, то напал он на меня как на твоего личного друга, в письме лично к тебе. Как только я прочел это письмо, полное непристойных угроз и грубой брани, я сразу понял, что на горизонте моей беспокойной жизни собрались тучи страшной напасти. Я сказал тебе, что не желаю быть игрушкой для вас обоих в вашей застарелой ненависти друг к другу, что я в Лондоне для него - лучшая добыча, чем некий иностранный посол в Гамбурге, что я буду несправедлив к самому себе, если позволю поставить себя хоть на один миг в подобное положение, и что в жизни у меня есть более достойные занятия, чем ссориться с таким человеком, как он, - вечно пьяным, деклассированным и полубезумным. Но тебе невозможно было это объяснить. Ненависть ослепляла тебя. Ты твердил, что ваши ссоры никакого отношения ко мне не имеют, что ты не позволишь отцу указывать тебе, с кем водить знакомство, что с моей стороны будет просто нечестно вмешиваться в ваши дела. До того, как ты говорил со мной, ты уже послал отцу в ответ глупейшую и пошлейшую телеграмму. И, конечно, ты и вести себя стал глупо и пошло. Человек совершает в жизни роковые ошибки не потому, что ведет себя безрассудно: минуты, когда человек безрассуден, могут быть лучшими в его жизни. Ошибки возникают именно от излишней рассудочности. Это совсем иное дело. Твоя телеграмма задала тон

всем твоим дальнейшим отношениям с отцом и, как следствие, повлияла на всю мою жизнь. И самое нелепое - то, что даже самый отпетый уличный мальчишка постыдился бы послать такую телеграмму. За наглой телеграммой совершенно естественно последовали письма твоего адвоката, и эти письма только подхлестнули твоего отца. Выбор ты ему не оставил. Из-за тебя это стало для него делом чести, или, вернее, угрозой бесчестия: ты решил, что тогда твои притязания будут иметь больше веса. Вот почему в следующий раз он напал на меня уже не как на твоего личного друга, в личном письме, а как на члена общества, на глазах у этого общества. Мне пришлось его выгнать из моего дома. Тогда он стал разыскивать меня по всем ресторанам, чтобы публично, перед всем светом поносить меня в таких словах, что, ответь я ему тем же, я погубил бы себя, а не ответь совсем, погубил бы себя вдвойне. Тогда-то и настал момент, когда ты должен был бы выступить и сказать, что не позволишь делать меня мишенью таких гнусных нападков, такого подлого преследования, и ты должен был бы сразу отказаться от каких бы то ни было притязаний на мою дружбу. Надеюсь, теперь ты это понял. Но тогда ты ни о чем не думал. Ненависть ослепляла тебя. Выдумал ты только одно, не считая оскорбительных писем и телеграмм твоему отцу: ты купил этот смехотворный пистолет, и в отеле "Беркли" вдруг раздался выстрел, вызвавший такие сплетни, хуже которых ты никогда в жизни не слыхивал. Впрочем, ты был явно в восторге, что из-за тебя разгорелась такая чудовищная вражда между твоим отцом и человеком моего общественного положения. Полагаю, что это вполне естественно льстило твоему самолюбию и возвышало тебя в собственных глазах. Если бы твой отец получил право распоряжаться твоей физической оболочкой, которая не интересовала меня, и оставил бы мне твою душу, до которой ему не было никакого дела, ты был бы глубоко огорчен таким исходом. Ты почуял повод к публичному скандалу и ухватился за него. Ты был в восторге, предвкушая бой и оставаясь при этом в безопасности. Никогда я не видел тебя в лучшем настроении, чем в то время. Единственным разочарованием было для тебя как будто то, что никаких встреч между нами, никаких ссор не происходило. В утешение себе ты посылал отцу такие немыслимые телеграммы, что несчастному пришлось отдать распоряжение прислуге - ни под каким видом не вручать ему твои послания, о чем он тебе и написал. Но ты не унялся. Ты сообразил, что можно посылать ему открытки, и всю использовал такую возможность. Этим ты еще больше натравливал его на меня. Впрочем, не думаю, чтобы он мог так легко отказаться от своих намерений. Семейные черты характера были в нем слишком сильны. Его ненависть к тебе была столь же неистребима, как твоя ненависть к нему, а я был для вас обоих козлом отпущения, предлогом для нападения и для защиты. Жажда быть у всех на виду была в твоём отце чертой не индивидуальной, а родовой. И все же, если бы его одержимость стала угасать, ты раздул бы ее заново своими открытками и письмами. Так и случилось. И, конечно, он зашел еще дальше. Сначала он напал на меня как на частное лицо, частным образом, потом как на члена общества - в общественных местах, и в конце концов решился на самый жестокий и последний выпад - напасть на меня, как на представителя Искусства, именно там, где мое Искусство воплощалось в жизнь. Он достает обманным путем билет на премьеру моей пьесы, замышляет устроить скандал, прервать спектакль, произнести гнусную речь по моему адресу, оскорбить моих актеров, осыпать меня всякими гнусностями и непристойностями, когда я выйду на вызовы после финала, - словом, совершенно погубить меня и мое Искусство самыми грязными и мерзостными выходками. По счастью, в припадке случайной, пьяной откровенности, он хвастает перед кем-то своими планами. Об этом сообщают в полицию, и его в театр не пускают. Вот тут тебе пора было вмешаться. Тут тебе представился подходящий случай. Неужели ты до сих пор не понял, что тебе надо было воспользоваться этим, выйти и сказать, что ты ни за что никому не позволишь из-за тебя губить мое Искусство? Ведь ты знал, что значит для меня мое Искусство, знал, что оно - тот великий глубинный голос, который сначала открыл меня мне самому, а потом и всем другим, что оно - истинная моя страсть, та любовь, перед которой все другие увлечения, словно болотная тина - перед красным вином или ничтожный светляк на болоте - перед волшебным зеркалом Луны. Неужто ты и теперь не понял, что отсутствие воображения - поистине самый роковой порок твоего характера? Перед тобой стояла самая простая, самая ясная задача, но Ненависть тебя ослепляла,

и ты не видел, что надо делать. Я не мог просить прощения у твоего отца за то, что он почти девять месяцев подряд преследовал и оскорблял меня самым гнусным образом. Избавиться от тебя я тоже не мог. Не раз я пытался вычеркнуть тебя из своей жизни. Я дошел до того, что просто бежал из Англии за границу, надеясь укрыться от тебя. Все было напрасно. Только ты один мог бы что-то сделать.

Ты держал все нити в своих руках. У тебя была полная возможность хотя бы отчасти отблагодарить меня за всю мою любовь, привязанность, щедрость, за всю заботу о тебе. Если бы для тебя имела цену хотя бы десятая доля моего художественного таланта, ты поступил бы именно так. То "свойство, которое одно лишь позволяет человеку понимать других в их реальных и идеальных проявлениях", - это свойство в тебе омертвело. Тобой владела одна мысль - как засадить твоего отца в тюрьму. Увидеть его "на скамье подсудимых", как ты говорил, - только об этом ты и думал. Это выражение стало одним из навязчивых лейтмотивов всех твоих разговоров. Ты повторял его за каждой трапезой. Что ж - твое желание исполнилось. Ненависть даровала тебе все, что ты желал. Она была доброй Госпожой. Такой она бывает со всеми, кто ей служит. Два дня ты просидел на почетном месте, рядом со стражей, наслаждаясь видом своего отца на скамье подсудимых в Главном уголовном суде. А на третий день я оказался на его месте. Что же случилось? Вы оба бросали кости, ставя на мою душу, и вышло так, что ты проиграл. Вот и все.

Ты видишь, что мне приходится рассказывать тебе о твоей жизни, и ты должен понять - почему. Мы знаем друг друга уже больше четырех лет. Из них половину мы провели вместе, другую же половину я провел в тюрьме, и это прямое последствие нашей дружбы. Я не знаю, где ты получишь это письмо, если ты вообще его получишь. В Риме, Неаполе, Париже, Венеции, - в каком-то из чудесных городов, у моря или у реки, ты нашел для себя прибежище, это я знаю наверняка. Может быть, ты окружен не той бесполезной роскошью, в которой ты жил со мной, но все же вокруг тебя все ласкает глаз, и слух, и вкус. Жизнь для тебя по-прежнему прекрасна. И все же, если ты хочешь, чтобы она стала еще прекраснее, но уже по-другому, пусть это ужасное письмо - а я знаю, что оно ужасно, - станет для тебя серьезным кризисом, переломом в твоей жизни, когда ты будешь его читать, как стало оно для меня, когда я его писал. Твое бледное лицо легко загоралось румянцем от вина или от удовольствия. Если же при чтении этих строк его опалит стыдом, как жаром раскаленной печи, тем лучше для тебя. Нет порока страшнее, чем душевная пустота. Только то истинно, что понято до конца.

Кажется, я уже дошел до того дня, когда попал в дом предварительного заключения. После ночи в полицейском участке меня отвезли туда в тюремной карете. Ты был весьма внимателен и добр ко мне. Чуть ли не каждый день, да, пожалуй, и каждый, ты старался приезжать в Холлоуэй, на свидание со мной, пока не уехал за границу. Ты также писал очень милые и ласковые письма. Но тебе ни разу не пришло на ум, что не твой отец, а ты сам посадил меня в тюрьму, что с самого начала до конца ты был за это в ответе, что я попал сюда из-за тебя, за тебя, по твоей вине. Твоя омертвевшая, лишенная воображения душа не проснулась, когда ты увидел меня за решеткой, в деревянной клетке. Ты только соболезновал мне, как сентиментальный зритель сочувствует герою жалостливой пьески. А то, что именно ты - автор этой ужасающей трагедии, тебе и в голову не приходило. Я видел, что ты совершенно не понимаешь, что натворил. А я не хотел первым подсказывать то, что должно было подсказать твое сердце, то, что оно непременно подсказало бы, если бы ты не дал Ненависти ожесточить его до полной бесчувственности. Каждый человек должен все осознавать собственным внутренним чувством. Бессмысленно подсказывать человеку то, чего он не чувствует и понять не может. И если я сейчас пишу тебе об этом, то лишь потому, что твое молчание и все твое поведение во время всего моего пребывания в тюрьме заставили меня пойти на это. Кроме того, все обернулось так, что удар обрушился лишь на меня одного. Но именно это стало для меня источником радости. По многим причинам я был готов к страданию, хотя в моих глазах твоя полнейшая, нарочитая слепота, когда я замечал ее в тебе, казалась чем-то недостойным. Помню, как ты с великой гордостью показал

мне письмо, которое ты написал обо мне в какую-то дешевую газетку. Это было чрезвычайно осторожное, умеренное и, по правде говоря, банальное произведение. Ты взывал к "английскому понятию честной игры" - или еще к чему-то, столь же скучному, в отношениях людей и твердил, что "лежачего не бьют". Такое письмо ты мог бы написать, если бы в чем-то несправедливо обвинили какого-то почтенного джентльмена, с которым ты лично был бы вовсе и незнаком. Но тебе это письмо казалось шедевром. Ты воспринимал его чуть ли не как проявление рыцарского благородства, достойного самого Дон-Кихота. Мне также известно, что ты писал и другие письма, в другие газеты, но что там их не печатали. В письмах ты попросту заявлял, что ненавидишь своего отца. Но до этого никому не было дела. Пора бы тебе знать, что Ненависть, с точки зрения разума, есть вечное отрицание. А с точки зрения чувства - это один из видов атрофии, умерщвляющей все, кроме себя самой. Писать в газеты, что ты кого-то ненавидишь, все равно что заявлять тем же газетам, что ты болен тайной и постыдной болезнью: тот факт, что ты ненавидишь своего родного отца и он отвечает тебе полной взаимностью, никак не делает твою ненависть чувством благородным и достойным. И если что-либо тут и выяснялось, то лишь одно: твоя болезнь была наследственной.

Вспоминаю еще, как мой дом был описан, моя обстановка и книги конфискованы и пушены с молотка и как я, вполне естественно, сообщил тебе об этом в письме. Я не упомянул о том, что судебный исполнитель явился в мой дом, где ты так часто обедал, требуя уплаты за те подарки, что ты получил от меня. Я решил, правильно или неправильно, что тебя это должно хоть немного огорчить, и сообщил тебе одни только факты. Я считал, что тебе необходимо знать об этом. Ты мне ответил из Булони в каком-то восторженно-лирическом возбуждении. Ты писал, что твой отец "сидит без денег", что ему пришлось раздобыть полторы тысячи фунтов на судебные издержки и что мое банкротство - "блестящая победа" над ним, потому что теперь он уж никак не может заставить меня платить за него судебные издержки! Понимаешь ли ты теперь, как Ненависть ослепляет человека? Видишь ли теперь, что, описывая ее как атрофию, омертвление всего, кроме нее самой, я просто научно описывал твоё подлинное психическое состояние? Тебе было абсолютно безразлично, что с молотка пойдут все мои прекрасные вещи: мои берн-джонсовские рисунки, мой Уистлер, мой Монтичелли, мой Саймон Соломон, моя коллекция фарфора, вся моя библиотека, с дарственными экземплярами почти всех моих современников-поэтов, от Гюго до Уитмена, от Суинберна до Малларме, от Морриса до Верлена; все труды моего отца и моей матери, в великолепных переплетках; все изумительное собрание моих школьных и университетских наград, все роскошные издания и еще много, много всего. Ты только сказал: "Какая досада!" - и все. Ты только предвкушал, как из-за этого твой отец потеряет несколько сот фунтов, и приходил в дикий восторг от этих мелочных расчетов. Что же касается судебных издержек, то тебе небезынтересно будет узнать, что твой отец публично заявил в Орлеанском клубе: если бы ему пришлось потратить двадцать тысяч фунтов, он считал бы и этот расход вполне оправданным, столько радости, столько удовольствия и торжества он получил бы взамен. Тот факт, что он не только засадил меня в тюрьму на два года, но и вытащил меня оттуда на целый день, чтобы меня объявили банкротом перед всем светом, доставил ему еще больше наслаждения, чего он и не ждал. Это было венцом моего унижения и торжеством его полной и бесспорной победы. Если бы у твоего отца не было притязаний на то, чтобы я оплатил его издержки, ты, по моему глубокому убеждению, хотя бы на словах сочувствовал бы мне в потере всей моей библиотеки, потере, для писателя невозместимой, самой тяжкой из всех моих материальных потерь. Может быть, вспомнив, как щедро я тратил на тебя огромные деньги, как ты годами жил на мой счет, ты потрудился бы выкупить для меня некоторые книги. Лучшие из них пошли меньше чем за полтора фунта: примерно столько же я обычно тратил на тебя за одну неделю. Но мелочное злорадство, которое ты испытывал при мысли, что твой отец потеряет какие-то гроши, заставила тебя совсем забыть, что ты мог бы хоть немного отблагодарить меня, это было бы так легко, так недорого, так наглядно и так бесконечно утешительно для меня, если бы ты это сделал. Разве я не прав, повторяя, что Ненависть

ослепляет человека? Понимаешь ли ты это теперь? Если нет, постарайся понять.

Не стану тебе говорить, как ясно я все понимал и тогда и теперь. Но я сказал себе: "Любой ценой я должен сохранить в своем сердце Любовь. Если я пойду в тюрьму без Любви, что станется с моей Душой?" В письма, написанные в те дни из тюрьмы Холлоуэй, я вложил все усилия, чтобы Любовь звучала как лейтмотив всей моей сущности. Будь на то моя воля, я бы мог вконец истерзать тебя горькими упреками. Я мог бы изничтожить тебя проклятиями. Я мог бы поставить перед тобой зеркало и показать тебе такой твой облик, что ты сам бы себя не узнал, но вдруг, увидев, что отражение повторяет все твои гримасы отвращения, понял бы, кого ты видишь в зеркале, и возненавидел бы себя навек. Скажу больше. Чужие грехи были отнесены на мой счет. Если бы я захотел, я мог бы, во время обоих процессов, спасти себя если не от позора, то, во всяком случае, от тюрьмы, ценой разоблачения истинного виновника. Если бы я постарался доказать, что три самых важных свидетеля обвинения были тщательно подготовлены твоим отцом и его адвокатами, что они не только о многом умалчивали, но и нарочно утверждали противное, нарочно приписывали мне чужие проступки, и что их заставили прорепетировать и затвердить весь задуманный план, я бы мог заставить судью удалить их из зала суда, даже решительнее, чем был удален несчастный запутавшийся Аткинс. Я мог бы выйти из зала заседаний свободным человеком, посмеиваясь про себя, небрежно засунув руки в карманы. Меня изо всех сил уговаривали поступить именно так. Мне серьезно так советовали, меня просили и умоляли люди, чьей единственной заботой было мое благополучие и благополучие моей семьи. Но я отказался. Я не пожелал идти на это. И я ни минуты не жалел о своем решении, даже в самые тяжкие времена в заточении. Такое поведение было бы ниже моего достоинства. Грехи плоти - ничто. Это болезнь, и дело врачей лечить их, если понадобится лечение. Только грехи души постыдны. Добиться оправдания такими средствами означало бы обречь себя на пожизненную пытку. Неужели ты думаешь, что за все время нашей с тобой дружбы ты был достоин той любви, какую я тогда проявлял к тебе, или что я хоть на миг верил, что ты ее стоишь? Я знал, что ты ее недостоин. Но Любовь не выводят на торжище, не бросают на весы торгаша. Отрада Любви, подобно отраде ума, - чувствовать, что она жива. Цель любви - любить, и только. Ты был моим врагом, такого врага не знал ни один человек. Я отдал тебе жизнь, а ты, в угоду самым низменным людским страстям - Ненависти, Тщеславия и Корысти, выбросил ее. Менее чем за три года ты окончательно погубил меня во всех отношениях. Ради себя самого мне оставалось только одно - любить тебя. Знаю, что если бы я позволил себе возненавидеть тебя, то в иссушенной пустыне моего существования, по которой я брел и все еще бреду, каждая скала лишилась бы тени, каждая пальма засохла, каждый ключ был бы отравлен в истоке. Начинаешь ли ты понимать хоть самую малость? Просыпается ли твоё воображение, так долго погруженное в мертвый сон? Ты уже узнал, что такое Ненависть. Приходит ли к тебе прозрение, узнаешь ли ты, что такое Любовь, поймешь ли саму природу Любви? Тебе еще не поздно затвердить это, хотя для того, чтобы дать тебе этот урок, мне пришлось попасть в тюремную камеру.

После страшного приговора, когда на мне уже была тюремная одежда и за мной захлопнулись тюремные ворота, я сидел среди развалин моей прекрасной жизни, раздавленный тоской, скованный страхом, ошеломленный болью. Но я не хотел ненавидеть тебя. Ежедневно я твердил себе: "Надо и сегодня сберечь любовь в моем сердце, иначе как проживу я этот день?" Я напоминал себе, что, по крайней мере, ты не желал мне зла. Я заставлял себя думать, что ты только наугад натянул лук, а стрела поразила Короля сквозь щель в броне. Я чувствовал, что несправедливо взвешивать твою вину на одних весах, даже с самыми мелкими моими горестями, самыми незначительными потерями. Я решил, что буду и на тебя смотреть как на страдальца. Я заставил себя поверить, что наконец-то пелена спала с твоих давно ослепших глаз. Я часто с болью представлял себе - в каком ужасе ты смотришь на страшное дело рук своих. Бывало, что даже в эти мрачные дни, самые мрачные дни моей жизни, мне от всей души хотелось утешить тебя. Вот до чего я был уверен, что ты наконец понял свою вину.

Мне тогда не приходило в голову, что в тебе жил самый страшный на свете порок - поверхностность. А я глубоко огорчился, когда мне пришлось передать тебе, что правом на переписку я должен воспользоваться в первую очередь для улаживания семейных дел. Но брат жены написал мне, что, если я хоть раз напишу своей жене, она не станет, ради меня и ради наших детей, возбуждать дело о разводе. Я считал своим долгом написать ей. Не говоря о других доводах, я не мог вынести мысли, что меня разлучат с Сирилом, моим прекрасным, горячо любимым и любящим сыном, лучшим из всех друзей, лучшим из всех товарищей, потому что один волосок с его золотой головки должен был бы стать мне дороже не только всего тебя, с головы до ног, но и всех сокровищ земного шара, и хотя так оно всегда и было, я осознал это слишком поздно.

Через две недели после твоего обращения к начальству я получаю сведения о тебе. Роберт Шерард, самый смелый и самый благородный из всех блистательных людей, пришел ко мне на свидание и, между прочим, сказал мне, что в "Меркюр де Франс", этой газетке, глупо бахвалящейся своей беспардонной продажностью, ты собираешься опубликовать статью обо мне с выдержками из моих писем. Роберт спросил - вправду ли я сам этого пожелал? Я был очень удивлен и расстроен и распорядился немедленно прекратить все это. Мои письма валялись у тебя повсюду - их разворовывали твои дружки-шантажисты, расхищали слуги в отелях, распродавали горничные. Ты по легкомыслию просто не ценил того, что я тебе писал. Но мне казалось невероятным, что ты собираешься опубликовать какие-то отрывки из нашей переписки. Какие же письма ты отобрал? Никаких сведений я добиться не мог. Это было первое, что я услышал о тебе. Мне все это очень не понравилось.

Вскоре я получил и второе известие о тебе. Поверенные твоего отца явились в тюрьму и вручили мне лично извещение о неуплате каких-то семисот фунтов - такова была сумма их затрат. Меня объявили несостоятельным должником, приказали привести меня в суд. Я был решительно убежден, да и сейчас уверен и еще вернусь к этому вопросу, что издержки должна была оплатить твоя семья. Ты лично взял на себя обязательство - объявить суду, что твоя семья все оплатит. Именно поэтому адвокат и взялся за это дело. Ты отвечал за это полностью. Даже независимо от того, что ты взял на себя обязательства перед своей семьей, ты мог бы почувствовать, что, погубив меня во всех отношениях, ты должен был хотя бы избавить меня от позора из-за совершенно ничтожной суммы, составлявшей меньше чем половину тех денег, которые я истратил на тебя за три коротких месяца в Горинге. Впрочем, сейчас я об этом больше не скажу ни слова. Однако я и вправду получил известие от тебя через клерка твоего адвоката по этому делу или, во всяком случае, в связи с ним. В тот день, когда он пришел получить мои показания и свидетельства, он наклонился ко мне через стол, - тут же присутствовал начальник тюрьмы, - и, взглянув на какую-то запись, сказал приглушенным голосом: "Принц Флер-де-Лис просил передать вам привет". Я посмотрел на него в недоумении. Он снова повторил эту фразу. Я не понимал, что это значит. "Этот джентльмен сейчас за границей", - таинственно добавил он. Для меня вдруг все прояснилось, и я помню, что впервые за все мое пребывание в тюрьме я рассмеялся. Все презрение мира прозвучало в этом смехе. Принц Флер-де-Лис! Я понял - и все последующие события подтвердили, что понял правильно, - что, несмотря на все случившееся, ты остался в полнейшем неведении. Ты по-прежнему видел себя в роли прелестного принца из пошлой комедии, а не в роли мрачного героя трагедии. Все, что случилось, было для тебя золотым пером на шляпе, что скрывает узколобость ничтожества, розовым цветком на камзоле, что прячет сердце, которое согревается Ненавистью и только Ненавистью, а для Любви, лишь для одной Любви остается холодным. Принц Флер-де-Лис! Да, ты был прав, обращаясь ко мне под вымышленным именем. Сам я в то время был вообще лишен всякого имени. В огромной тюрьме, где я тогда был заперт, я был обозначен лишь буквой и цифрой на двери тесной камеры в длиннейшем коридоре, одним из тысячи мертвых номеров, как и одной из тысячи мертвых жизней. Но разве не нашлось среди множества невыдуманых имен в истории более подходящего имени, по которому я

тотчас узнал бы тебя? Ведь я не искал тебя под блестками картонного забрала, пригодного лишь для забавного маскарада. О, если бы твою душу, как и следовало бы, ради твоего же блага, изранила жалость, согнуло раскаяние, сокрушило страдание, ты выбрал бы не такое обличье, чтобы войти под его прикрытием в Обитель Скорби. Все великое в жизни таково, каким оно нам видится, и потому, как ни странно тебе это может показаться, его трудно истолковать. Но все мелочи жизни - только символы. И все горькие уроки жизни скорее всего мы получаем через них. Твой случайный выбор вымышленного имени был и останется символическим. Он выдал тебя с головой.

Полтора месяца спустя пришло и третье известие. Меня вызвали из тюремного лазарета, где я лежал тяжело больной, чтобы срочно передать через начальника тюрьмы сообщение от тебя. Он прочел мне твое письмо, адресованное лично ему, где ты заявляешь, что собираешься опубликовать статью "о деле м-ра Оскара Уайльда" на страницах "Меркюр де Франс" ("газеты", как ты добавил по совершенно понятной причине, "которая соответствует нашей английской "Фортнайтли ревю") и хотел бы получить мое разрешение опубликовать выдержки и отрывки - из каких же писем? Из писем, что я тебе писал из тюрьмы Холлоуэй, из тех писем, которые должны быть для тебя священной и сокровенной всего на свете! И именно эти письма ты задумал предать гласности - на забаву пресыщенному декаденту, всеядному фельетонисту, на посмешище мелким лъвьятам Латинского квартала! И если в твоём собственном сердце ничто не возопило против столь вопиющего святотатства, ты мог бы, по крайней мере, вспомнить сонет, написанный тем, кто с болью и гневом видел, как письма Джона Китса продавались в Лондоне с публичного торга, и тебе наконец стало бы понятно, о чем я говорю в этих строчках:

*Кристалл живого сердца раздроблен
Для торга без малейшей подоплеки.
Стук молотка холодный и жестокий.*

Что же ты хотел сказать в своей статье? Что я был слишком привязан к тебе? Любой парижский gamin [мальчишка (фр.)] прекрасно об этом знает. Все они читают газеты, а многие и пишут для них. Что я был человеком гениальным? Французы понимали это, они понимали особые свойства моего гения гораздо лучше, чем ты, тебе до них далеко. Что гениальности часто сопутствуют странные извращения страстей и желаний? Похвально; но на эту тему пристало рассуждать Ломброзо, а не тебе. Кроме того, это патологическое явление встречается и среди тех, кто не одарен гением. Что в ненавистнической войне между тобой и твоим отцом я был одновременно и оружием и щитом для каждого из вас? Нет, более того, - что в омерзительной травле, в охоте за моей жизнью, которая началась после завершения этой войны, он никогда не в силах был бы добраться до меня, мои ноги уже не запутались в твоих тенетах. Вполне справедливо: но я слышал, что Анри Бауэр уже описал это с превеликим совершенством. Кроме того, если ты хотел поддержать его точку зрения, тебе не было надобности печатать мои письма, по крайней мере, те, что были написаны в тюрьме Холлоуэй.

Может быть, в ответ ты скажешь, что в одном из своих холлоуэйских писем я сам просил тебя попытаться, насколько сумеешь, хоть немного обелить меня в глазах хотя бы некоторых кругов? Разумеется, я просил об этом. Вспомни, почему я в эту самую минуту здесь и как я сюда попал. Не думаешь ли ты, что я попал сюда за связи с теми, кто выступал свидетелями на моем процессе? Мои вымышленные или реальные связи с подобными людьми не интересуют ни Правительство, ни Общество. Они ничего не ведали об этом, а интересовались и того меньше. Я попал сюда за то, что пытался посадить в тюрьму твоего отца. Конечно, моя попытка провалилась. Мои собственные адвокаты отказались от защиты. Твой отец поменялся со мной ролями и засадил меня в тюрьму, и я сижу в тюрьме до сих пор. Вот за что меня обливают презрением. Вот почему люди мной гнушаются. Вот почему мне придется отбыть ужасное заключение до последнего дня, до последнего часа, до последней минуты. Вот почему на все мои прошения отвечают отказом. Ты был единственным

человеком, который мог бы, не подвергая себя насмешкам, опасностям или осуждению, придать всему делу иную окраску, представить все обстоятельства в ином свете, до некоторой степени приоткрыть истинное положение вещей. Конечно, я не ожидал бы, даже не хотел бы, чтобы ты рассказывал, с какой целью ты просил моей помощи, когда с тобой случилась та неприятность в Оксфорде, и как или с какой целью - если у тебя была хоть какая-то цель - ты буквально не отходил от меня в течение двух с лишним лет. Не было необходимости говорить о моих постоянных усилиях избавиться от этой дружбы, столь губительной для меня - художника, известного человека, да и просто члена общества, - говорить с теми подробностями, как я говорю здесь. Я бы не просил тебя ни рассказывать о сценах, которые ты мне устраивал так регулярно, что это стало отдавать однообразием, ни оглашать ту удивительную серию твоих телеграмм ко мне, в которых причудливо переплеталась романтичность с расчетливостью, ни цитировать на выбор самые отвратительные и бессердечные места из твоих писем, как мне пришлось сделать поневоле. И все же я думаю, что для тебя и для меня было бы лучше, если бы ты хоть отчасти опроверг выдуманную твоим отцом версию нашей дружбы, - шутовства в этой версии не меньше, чем яда, и если меня она бесчестит, то тебя выставляет в самом нелепом свете. Эта версия отныне уже всерьез стала достоянием истории: на нее ссылаются, ей верят, ее заносят в анналы; проповедник избрал ее темой для проповеди, а моралист - для своего нудного назидания, и я, беседовавший со всеми веками, был вынужден выслушать свой приговор от нашего века, схожего с обезьяной и шутком. В этом письме я уже говорил, и признаюсь, не без горечи, что ирония положения привела к тому, что твой отец станет живым прототипом героя хрестоматий для воскресной школы, тебя поставят в один ряд с отроком Самуилом, а мне отведут место между Жилем де Ретцем и маркизом де Салом. Что ж, все это к лучшему. Я не собираюсь жаловаться. Один из многих уроков, которые нам дает тюрьма, - порядок вещей таков, как есть, и все будет, как будет. И у меня нет ни малейшего сомнения, что средневековый злодей и автор "Жюстины" составят мне компанию получше, чем Сэндфорд и Мертон.

Но в то время, когда я писал к тебе, я чувствовал, что для нас обоих было бы лучше, честнее, справедливее не соглашаться с теми объяснениями, которые твой отец выдвинул через своего адвоката в назидание мещанскому обществу, вот почему я и попросил тебя обдумать и написать что-нибудь более близкое к истине. По крайней мере, для тебя это было бы лучше, чем пописывать во французские газеты заметки о семейной жизни своих родителей. Какое дело французам до того, была эта семейная жизнь счастливой или нет? Невозможно придумать более безразличную для них тему. Их интересовало другое - как вышло, что знаменитый писатель, оказавший такое заметное влияние на мысль Франции через ту школу, то течение, воплощением которых он был, прожив такую жизнь, навлек на себя подобные преследования? Если бы ты предложил опубликовать в своей статье те письма - боюсь, что им несть числа! - в которых я писал тебе о том, что ты разбиваешь мою жизнь, о тех безумных приступах ярости, которым ты поддаешься себе и мне на беду, о своем желании покончить с этой дружбой, во всех отношениях губительной для меня, - я бы еще понял это, хотя и не допустил бы публикации подобных писем; когда твой отец, стараясь уличить меня в непоследовательности, внезапно предъявил суду мое письмо к тебе, написанное в марте 1893 года, в котором я говорил, что предпочел бы, чтобы меня "шантажировал каждый житель Лондона", чем выносить те гнусные сцены, которые ты устраивал мне непрерывно и с таким жутким удовольствием, для меня это было настоящее горе - видеть, что эту сторону нашей дружбы походя обнажили перед пошлыми зеваками, но то, что ты настолько лишен восприимчивости и малейшей чуткости, настолько недоступен пониманию всего редкостного, утонченного и прекрасного, что можешь предложить для публикации те письма, в которых - и посредством которых - я старался сохранить в живых самый дух и душу Любви, не дать им покинуть мое тело за долгие годы предстоящих этому телу унижений, - вот что было и остается для меня источником самой острой боли, самого глубокого разочарования. Боюсь, что я слишком хорошо понимаю, почему ты так поступил. Если Ненависть ослепляла твои глаза, то

Тщеславие скрепило твои веки стальной нитью. Твой узколобый эгоизм притупил свойство, "которое одно лишь позволяет человеку понимать других в их реальных и идеальных проявлениях", и оно пришло в полную негодность от длительного бездействия. Воображение томилось в тюрьме, как и я. Тщеславие забрало окна решеткой, а на страже у дверей встала Ненависть.

Все это происходило в начале ноября позапрошлого года. Между тобой и этой отдаленной датой течет великая река жизни. Ты вряд ли можешь что-либо разглядеть за этой неохватной ширию. А мне кажется, что это происходило даже не вчера, а сегодня. Страданье - это одно нескончаемое мгновение. Его нельзя разделить на времена года. Мы можем только подмечать их оттенки и вести счет их возвращениям. Здесь само время не движется вперед. Оно идет по кругу. Оно обращается вокруг единого центра боли. Парализующая неподвижность жизни, в которой каждая мелочь имеет свое место в неизменном распорядке, - мы едим, пьем, выходим на прогулку, ложимся и молимся - или, по крайней мере, становимся на колени для молитвы - согласно непреложным законам железных предписаний: это свойство неподвижности, сообщающее каждому ужасному дню полнейшее сходство с его собратьями, словно передается и тем внешним силам, которым по самой их природе свойственны бесконечные перемены. О времени сева или жатвы, о жнецах, склоняющихся над колосьями, о виноградарях среди спелых гроздьев, о зеленой траве в саду, убеленной опавшим яблоневым цветом или усыпанной спелыми плодами, мы ничего не знаем и ничего не можем узнать. У нас царит единственное время года - время Скорби. У нас словно бы отняли даже солнце, даже луну. Снаружи день может сиять золотом и лазурью, но через тусклое, забранное решеткой крохотное окошко, под которым сидишь, пробивается только серый, нищенский свет. В камере вечные сумерки, - и вечный сумрак в сердце. И в сфере мысли, как и в сфере времени, движение застыло. То, что ты давно позабыл или легко позабудешь, происходит со мной сейчас и будет происходить заново - завтра. Запомни это, и тогда тебе станет хоть отчасти понятно, почему я пишу тебе и почему пишу именно так.

Через неделю меня перевели сюда. Миновали еще три месяца - и смерть унесла мою мать. Никто лучше тебя не знает, как я любил ее и как перед ней преклонялся. Ее смерть поразила меня таким ужасом, что я - некогда повелитель слов - не нахожу ни слова, чтобы передать мою муку и мой стыд. Никогда, даже в расцвете своего мастерства, я не мог бы сыскать слова, которые несли бы столь драгоценное бремя, шествуя с подобающим величием сквозь багряное пиршество моей невыразимой скорби. Она вместе с моим отцом завещала мне благородное имя, прославленное не только в Литературе, Искусстве, Археологии и Науке, но и в истории народа моей страны, в ее национальном развитии. Я навеки обесчестил это имя. Я превратил его в пошлое присловье подлого люда. Я вымарал его в грязи. Я бросил его свиньям, чтобы они наполнили его свинством, и дуракам, чтобы они превратили его в синоним глупости. Что я тогда выстрадал и как я страдаю теперь - перо не в силах выразить, а бумага не в силах выдержать. Моя жена в то время была еще добра и нежна со мной, и, чтобы мне не пришлось выслушать эту весть из равнодушных или враждебных уст, она сама, больная, проделала весь путь из Генуи в Англию и сама принесла мне известие об этой невозместимой, невозвратной потере. Ко мне дошли выражения соболезнования ото всех, кто еще любил меня. Даже люди, незнакомые со мной лично, услышав, какое новое горе обрушилось на мою разбитую жизнь, просили передать мне свое сочувствие. Ты один остался холоден, ты ничего мне не передал, ничего не написал. О таком поступке лучше всего сказать так, как сказал Вергилий Данте о тех, чьи жизни были лишены благородных порывов и высоких стремлений: "Non ragionam di lor, ma guarda, e passa" [они не стоят слов: взгляни - и мимо (итал.)].

Проходит еще три месяца. Висящий снаружи на двери моей камеры табель, где ежедневно отмечается мое поведение и проделанная работа, где проставлено мое имя и срок наказания, говорит мне, что наступил май.

Мои друзья снова посещают меня. Я, как всегда, расспрашиваю о тебе. Мне говорят, что ты сейчас на своей вилле в Неаполе и собираешься выпустить томик стихов. К концу разговора случайно выясняется, что ты посвящаешь его мне. Узнав об этом, я почувствовал, что жизнь мне опостылела. Я ничего не сказал, я молча вернулся в свою камеру, с гневом и презрением в сердце. Как ты вообразил, что можно посвящать мне книгу стихов, не испросив на то моего разрешения? Вообразил, говорю я? Как ты посмел это сделать? Ты скажешь в ответ, что в дни моего величия и славы я согласился принять посвящение твоих ранних стихов? Конечно, согласился - я принял бы этот знак уважения от любого юноши, вступающего на трудное и прекрасное литературное поприще. Всякие почести отрадны для художника - и вдвойне отрадны, когда их касаются руки старцев. Только юности принадлежит право венчать художника. В этом истинная привилегия юности - если бы только юность об этом знала. Но дни унижения и бесчестия - не то, что дни величия и славы. Тебе еще предстоит узнать, что Благополучие, Наслаждение и Успех бывают грубого помола и суровой пряжи, но Страдание - самое чуткое из всего, что есть на свете. Что бы ни тронулось в целом мире мысли или движения - на все Страдание откликается созвучной и тягостной, хотя и тончайшей, вибрацией. По сравнению с этой дрожью трепетный листок расплющенного золота, фиксирующий направление сил, невидимых глазу, колеблется слишком грубо. Это рана, которая кровоточит от прикосновения любой руки, кроме руки Любви, но и касанье Любви тоже заставляет ее обливаться кровью, только не от боли.

Ты смог написать начальнику Уондсвортской тюрьмы, испрашивая моего разрешения опубликовать мои письма в "Меркюр де Франс", которая соответствует нашему английскому "Фортнайтли ревью". Почему бы тебе не написать начальнику Редингской тюрьмы и не попросить моего разрешения посвятить мне твои стихи, как бы фантастически ты ни вздумал их назвать? Не потому ли, что в первом случае речь шла о журнале, где я запретил печатать свои письма, авторское право на которые, как ты прекрасно знаешь, закреплено всецело за мной, а во втором - ты радовался, что успеешь сделать все по-своему, втайне от меня, и это дошло бы до меня слишком поздно, когда я уже не смог бы помешать тебе. То, что я обесчещен, разорен и заточен в тюрьму, - все это должно было заставить тебя просить у меня разрешения поставить мое имя на первой странице твоей книги, как просят милости, чести и привилегии. Только так нужно обращаться с тем, кто попал в беду и покрыт позором.

Там, где пребывает Страдание, - священная земля. Когда-нибудь ты поймешь, что это значит. И пока ты этого не поймешь, ты ничего не узнаешь о жизни. Робби и такие, как он, способны понять это. Когда я в сопровождении двух полицейских был привезен из тюрьмы в суд по делам несостоятельных должников. Робби ждал в длинном мрачном коридоре, чтобы на глазах у всей толпы, которая притихла, увидев этот простой и прекрасный жест, снять передо мной шляпу, когда я проходил мимо в наручниках, понутив голову. Люди попадали в рай и за меньшие заслуги. Движимые таким чувством, такой любовью, святые становились на колени, чтобы омыть ноги нищих, или склонялись к прокаженному, целуя его в щеку. Я ни разу ни словом не обмолвился Робби о том, что он сделал. До сих пор я даже не знаю, известно ли ему, что я вообще заметил его поступок. За это нельзя приносить формальную благодарность в общепринятых выражениях. Я храню ее в сокровищнице своего сердца. Она спрятана там, как тайный долг. И я счастлив, что долг этот неоплатен. Эта благодарность нетленна и напитана благовонным бальзамом обильных слез. Когда Мудрость оказалась бесполезной. Философия - бесплодной, а присловья и избитые изречения тех, кто пытался утешить меня, были как прах и пепел в моих устах, это смиренное и неприметное деяние Любви отворило для меня все родники жалости, заставило пустыню расцвести розами, избавило меня от горестного одиночества изгнанника и воссоединило меня с израненным, разбитым и великим сердцем Мироздания. И когда ты сумеешь понять не только то, как был прекрасен поступок Робби, но и то, почему он так много для меня значил - и всегда будет так дорог мне, - тогда, может быть, ты поймешь, как и с каким чувством ты должен был просить у меня разрешения посвятить мне свои стихи. Справедливо при этом заметить, что я ни при каких условиях не принял бы это посвящение. Хотя не исключено, что при иных обстоятельствах

мне было бы приятно услышать такую просьбу, я все равно ответил бы на нее отказом ради тебя, не считаясь со своими чувствами.

Первый томик стихов, который юноша в расцвете весны своего возмужания посылает в широкий мир, должен быть словно белый боярышник в саду у колледжа св.Магдалины или первоцвет на Камнорских лугах. Его нельзя отягощать бременем ужасной, отталкивающей трагедии, ужасного, отвратительного скандала. Если бы я разрешил сделать свое имя глашатаем книги, я совершил бы непростительную эстетическую ошибку. Это создало бы вокруг всей книги ложную атмосферу, а в современном искусстве нет ничего важнее атмосферы. Современная жизнь сложна и относительна. Это - ее отличительные черты. Для того чтобы отразить первую черту, нам нужна атмосфера со всеми тончайшими нюансами, намеками и необычайными перспективными искажениями; вторая черта требует соотнесения с фоном. Вот почему Скульптура перестала быть изобразительным искусством, а Музыка стала им; вот почему Литература есть, была и навсегда останется наивысшим изобразительным искусством.

Твоя маленькая книжечка должна принести с собой напевы Сицилии и Аркадии, а не ядовитый смрад уголовного суда и не зловонную духоту тюремной камеры. И такое посвящение было бы не просто проявлением недостаточного вкуса в Искусстве; оно совершенно неприемлемо и с других точек зрения. Оно показалось бы продолжением той линии поведения, которой ты придерживался и до и после моего ареста. У людей она вызвала бы впечатление глупой бравады: образчика того рода смелости, которая продается по дешевке и задешево покупается на проезжих дорогах позора. Во всем, что касается нашей дружбы, Немезида раздавила нас обоих, как мух. Посвящение стихов мне, пока я в тюрьме, показалось бы неумной попыткой остроумной отповеди: "талант", которым ты так неприкрыто гордился в прежние дни, сочиняя свои ужасные письма, - надеюсь, что эти дни никогда больше не возвратятся, - которым ты так любил хвалиться. Это посвящение не произвело бы того серьезного, прекрасного впечатления, на которое - я надеюсь, я уверен - ты рассчитывал. Если бы ты посоветовался со мной, я дал бы тебе совет несколько отложить публикацию книги или, если бы это пришлось тебе не по вкусу, напечатать ее сперва анонимно, а потом, завоевав любовь к своей поэзии - только эту любовь и стоит завоевывать, ты мог бы обернуться и заявить: "Цветы, которыми вы восхищаетесь, возвращены мной, и вот я подношу их тому, кого вы считаете парией и изгоем, - в знак своей любви, уважения и восхищения". Но ты избрал неподходящий способ и неподходящий момент. Есть свой такт в любви и свой такт в литературе: ты невосприимчив ни к тому, ни к другому.

Я так много говорю об этом, чтобы ты представил себе все до конца и понял, почему я написал Робби письмо, полное такого гнева и презрения к тебе, категорически запретил посвящение и выразил желание, чтобы все, что касается тебя в моем письме, было тщательно переписано и отослано тебе. Я чувствовал, что настало наконец то время, когда ты будешь вынужден увидеть, признать и обдумать хотя бы отчасти все, что ты натворил. Можно упорствовать в слепоте до тех пор, пока она не превратится в уродство, и человеку, лишенному воображения, если его ничто не смогло пробудить, суждено окаменеть до полной бесчувственности, и хотя тело может есть и пить и предаваться наслаждениям, но душа, чьим обиталищем служит тело, будет абсолютно мертва, как душа Бранка д'Орья у Данте. По-видимому, мое письмо дошло до тебя как раз вовремя. Насколько я могу судить, оно поразило тебя, как громом. В своем ответе Робби ты пишешь, что ты "не в силах ни думать, ни говорить". И вправду, ты, кажется, не в силах был придумать ничего лучше, чем пожаловаться в письме своей матери. И она, разумеется, в злосчастной и для нее и для тебя слепоте, к твоей истинной пользе утешает тебя всеми измышлениями, какие только приходят ей в голову, и, должно быть, снова убаюкивает тебя и возвращает в то же несчастное, недостойное состояние, что же касается меня, то всем моим друзьям она дает понять, что "жестоко обижена" суровостью моего к тебе отношения. Собственно, эти свои обиды она поверяет не только моим друзьям, но и тем, кого нельзя считать

моими друзьями, - а их гораздо больше, как ты прекрасно знаешь: через людей, которые с большой теплотой относятся к тебе и твоему семейству, мне стало теперь известно, что из-за этого я совершенно потерял значительную долю того сочувствия, которое мне постепенно, но прочно завоевывали и мой всеми признанный талант, и мои страдания. Люди говорят: "А! Сначала он пытался засадить в тюрьму благородного отца, но эта затея сорвалась; теперь он переметнулся на другую сторону и обвиняет в своих неудачах ни в чем не повинного сына! Да, мы презирали его по заслугам! Он того стоит!" Мне кажется, что если уж твоя мать, услышав мое имя, не может найти ни слова сожаления или раскаяния в том, что внесла свою - и немалую - долю в разорение моего домашнего очага, то ей больше подобало бы хранить молчание. А ты - не кажется ли тебе, что для тебя было бы лучше во всех отношениях не писать ей письма, полные жалоб, а написать прямо ко мне, набравшись смелости сказать мне все, что тебе нужно было сказать - иди то, что тебе мнилось нужным? Скоро минет год, как я написал то письмо. Вряд ли ты все это время был "не в силах ни думать, ни говорить". Почему же ты мне не написал? Ты видел по моему письму, как глубоко я ранен, как взбешен твоим поведением. И более того - перед твоим взором наконец предстала в истинном свете вся твоя дружба со мной - без всяких недомолвок. В былые дни я очень часто говорил тебе, что ты губишь всю мою жизнь. Ты всегда смеялся. Эдвин Леви, на самой заре нашей дружбы, увидел, как ты всегда выталкиваешь меня вперед, подставляя под самые сокрушительные удары, заставляешь нести все тяготы и расходы даже в тех твоих оксфордских неприятностях, - если это так называется, - по поводу которых мы обратились к нему за советом и помощью, - и целый час уговаривал меня не знаясь с тобой; и когда я в Брэкнелле рассказывал тебе об этом разговоре, ты только смеялся. Когда я сказал тебе, что даже тот несчастный юноша, который впоследствии сел вместе со мной на скамью подсудимых, не один раз предупреждал меня, что ты во сто крат опаснее всех тех простых парней, с которыми я имел глупость водить знакомство, и навлечешь на меня страшные несчастья, - ты тоже смеялся, хотя уже не так весело. Когда мои наиболее высоконравственные или наименее преданные друзья бросали меня из-за нашей дружбы с тобой, ты смеялся с издевкой. Ты покатывался со смеху, когда по поводу первого оскорбительного для меня письма, написанного тебе твоим отцом, я сказал тебе, что послужу только орудием и что вы доведете меня до беды в вашей чудовищной ссоре. Но все вышло так, как я предсказывал, по крайней мере, в том, к чему это привело. И совершенно непростительно, что ты не видел, как все обернулось. Что помешало тебе написать мне? Трусость? Бессердечие? Что это было? Мое бешенство и возмущение твоим поведением тем более должно было заставить тебя написать. Если ты считал, что я в своем письме прав, ты должен был ответить. Если ты считал, что я не прав хоть в самой малости, ты должен был ответить. Я ждал твоего письма. Я был уверен, что ты поймешь: если даже прежняя привязанность, любовь, подкрепленная столькими доказательствами, тысячи добрых дел, за которые ты мне так плохо заплатил, тысячи не оплаченных тобою долгов благодарности - если все это для тебя ничего не значит, то тебя заставит написать мне хотя бы чувство долга - самое черствое из чувств, связывающих двух людей. Ты не можешь отговориться, будто всерьез верил тому, что мне запретили всю переписку, кроме деловых сообщений от близких родственников. Ты отлично знал, что Робби посылает мне каждые двенадцать недель небольшой обзор литературных новостей. Трудно себе представить более очаровательные письма: они полны остроумия, метких и точных суждений, они так непринужденны - это настоящие письма кажется, что слышишь живой человеческий голос; они похожи на французскую causerie intime [интимную беседу (фр.)]; а как деликатно он выражает свое уважение ко мне, обращаясь то к моему мнению, то к моему чувству юмора, то к моему инстинктивному пониманию красоты или к моей образованности и сотней тончайших намеков напоминая мне, что некогда я был законодателем стиля в искусстве для многих и высшим авторитетом для некоторых, - он обнаруживает и такт в литературе, и такт в любви. Его письма приходят ко мне, как маленькие посланцы прекрасного неземного мира искусства, где я некогда был Королем и где я поныне царил бы, если бы не дал увлечь себя в несовершенный мир грубых неудовлетворенных страстей, неразборчивых вкусов, несдержанных желаний и бесформенной алчности. И все же,

учитывая все это, в конце концов я уверен, что ты мог понять или хотя бы собственным умом дойти до того, что даже с точки зрения простого психологического любопытства получить вести о тебе мне было бы гораздо интереснее, чем узнать, что Альфред Остин собрался выпустить томик стихов, а некто, неспособный без запинки произнести хвалебную речь, утверждает, что миссис Мейнелл - новая Сивилла в области стиля.

Ах! если бы ты попал в тюрьму - нет, не по моей вине, одна эта мысль наводит на меня невыносимый ужас, - но по собственной вине, по собственной оплошности, из-за доверия к ложным друзьям, из-за того, что ты оступился в трясине низменных страстей, доверился кому не следовало, полюбил того, кто недостоин любви, - словом, по всем этим причинам или вовсе без причин, неужели ты думаешь, что я допустил бы, чтобы ты истерзал свое сердце во мраке и одиночестве, и не попытался бы хоть как-нибудь, хоть на самую малость разделить с тобой горькое бремя твоего позора? Неужели ты думаешь, что я не сумел бы дать тебе знать, что, если ты страдаешь, я разделяю твое страдание; если ты плачешь, мои глаза тоже полны слез; и если ты брошен в темницу и заклемен людским презрением, я воздвиг из своей печали дом, где буду ждать твоего прихода, сокровищницу, где все, в чем тебе отказали люди, стократно умножившись, будет готово принять и исцелить тебя. Если бы горькая необходимость или осторожность, которая для меня еще горше, помешала бы мне быть рядом с тобой, лишила бы меня радости видеть тебя пусть сквозь железные прутья, в постыдном обличе, - я писал бы тебе, ни с чем не считаясь, в надежде, что хоть одна фраза, хоть единое словцо, хоть полузадушенное эхо голоса любви пробьется к тебе. Если бы ты не захотел принимать мои письма, я все равно писал бы тебе, и ты, по крайней мере, знал бы, что эти письма ждут тебя. Многие так писали мне. Каждые три месяца люди пишут мне или просят разрешения писать. Эти письма и записки до меня не доходят. Но их вручат мне, когда я выйду из тюрьмы. Я знаю, что они где-то лежат. Я знаю имена людей, их написавших. Я знаю, что эти письма полны сочувствия, доброты и приязни. И этого вполне достаточно. Мне не нужно знать ничего больше. Твое молчание было ужасно. И это молчание тянулось не неделю, не месяц - оно тянулось годами; годами даже в исчислении тех, кто, подобно тебе, кружится в вихре радости и едва способен угнаться за бегом дней, проносающихся золотыми стопами в пляске, и едва переводит дыхание в погоне за наслаждением. Твоему молчанию нет оправданья: это молчанье простить невозможно. Я знал, что ты ненадежен, как статуя на глиняных ногах. Кому было знать лучше? Когда я в своих афоризмах написал, что золото кумира ценится только потому, что ноги у него из глины, я думал о тебе. Но не золотого кумира на глиняных ногах сотворил ты себе. Из дольного праха проезжих дорог, размолотого в грязь копытами скота, ты вылепил своего двойника и поставил перед моими глазами, и теперь, какие бы желания я ни питал в глубине сердца, я не смогу испытывать при виде тебя ничего, кроме презрения и гнева. И даже если отбросить все другие причины, одно твое равнодушие, твоя житейская цепкость, твое бессердечие, твоя осмотрительность, как бы ты ее ни называл, - все это стало для меня вдвое горше из-за тех особых обстоятельств, которые сопровождали мое падение или следовали за ним.

Другие несчастные, брошенные в тюрьму, тоже лишены всей прелести мира, но они, по крайней мере, хоть отчасти защищены от этого мира, от его самых убийственных пращей, самых смертельных стрел. Они могут затаиться во тьме своих камер и самым своим позором обеспечить себе право убежища. Мир, свершив свой суд, идет своим путем, а их оставляет страдать без помех. Со мной было иначе. Бедра за бедой стучалась у тюремных дверей, разыскивая меня; и перед ними открыли ворота во всю ширь и впустили их. Друзьям моим чинили всяческие препоны, если вообще допускали их ко мне. Но мои враги всегда могли иметь ко мне доступ - два раза во время дела о банкротстве; и дважды, когда меня переводили из одной тюрьмы в другую, я был выставлен на поругание перед глазюющей толпой и испытал неслыханное унижение. Гонец Смерти принес мне свою весть и пошел своим путем; и в полном одиночестве, вдалеке от всего, что могло бы утешить меня или облегчить мое горе, мне пришлось нести непосильное бремя отчаяния и угрызений совести, которое я несу и до сих пор при

воспоминании о моей матери. Едва время успело - нет, не излечить эту рану, а только притупить боль, - как начали приходить обидные и резкие письма от поверенных моей жены. Я опозорен, мне грозит нищета. Это я еще мог бы вынести. Я могу приучить себя и к худшим лишениям; но вот закон отнимает у меня обоих сыновей. И это стало и навсегда останется для меня причиной безысходного отчаяния, безысходной боли и горя без конца и края. Закон решил и взял на себя право решать, что общение со мной вредно для моих собственных детей, - это для меня просто чудовишно. Позор тюрьмы перед этим - ничто. Я завидую всем тем, кто ходит вокруг тюремного двора рядом со мной. Я уверен, что их дети ждут не дождутся их возвращенья и радостно бросятся им навстречу.

Бедняки мудрее, они более милосердны, добры и чутки, чем мы. В их глазах тюрьма - трагедия человека, горе, несчастный случай, нечто достойное сочувствия ближних. О человеке, попавшем в тюрьму, они говорят, что с ним "стряслась беда", и все. Так они говорят всегда, и в этом выражении заключена вся совершенная мудрость любви. У людей нашего класса все по-иному. У нас тюрьма превращает человека в парию. Такие, как я, едва имеют право дышать и занимать место под солнцем. Наше присутствие омрачает радости других. Когда мы выходим на свободу, мы везде - нежеланные гости. Нам не пристало любоваться бликами луны. Даже детей у нас отбирают. Расторгаются самые прекрасные человеческие связи. Мы обречены на одиночество, хотя наши сыновья еще живы. Нам отказано в том единственном средстве, которое способно поддержать нас, приложить целебный бальзам к истерзанному сердцу, умиротворить изболевшуюся душу.

И сверл всего этого ты внес еще одну мелкую, но жестокую черту в мою жизнь: своими действиями и своим молчанием, тем, что ты сделал и что оставил несделанным, ты отяготил каждый день моего долгого заточения лишним грузом. Даже хлеб и вода - мой тюремный паек - изменились из-за тебя. Хлеб стал горьким, и вода - затхлой. Ты удвоил то горе, которое должен был разделить, а боль, которую должен был облегчить, ты обострил до предела. Я не сомневаюсь, что ты этого не хотел. Я знаю, что ты этого не хотел. Это был всего-навсего "один поистине роковой недостаток твоего характера - полнейшее отсутствие воображения".

И в конце концов мне придется простить тебя. Я должен тебя простить. Я пишу это письмо не для того, чтобы посеять обиду в твоём сердце, и не для того, чтобы вырвать ее из своего сердца. Я должен простить тебя ради себя самого. Нельзя вечно согреть на груди змею, которая тебя гложет; нельзя вставать еженощно и засеивать терниями сад своей души. Мне вовсе нетрудно будет простить тебя, если ты мне хоть немного поможешь. В прежние времена я легко прощал тебе все, что бы ты ни вытворял. Тогда это не пошло тебе на пользу. Прощать прегрешенья может только тот, чья жизнь чиста и ничем не запятнана. Но теперь, когда я предан бесчестью и унижению, все перевернулось. Для тебя очень важно, чтобы я простил тебя. Когда-нибудь ты это поймешь. И рано или поздно, теперь или никогда, в какой бы срок ты это ни понял, мой путь для меня ясен. Я не могу допустить, чтобы ты прожил жизнь, неся на сердце тяжкий груз сознания, что ты погубил такого человека, как я. От этой мысли тобой может овладеть холодное бесчувствие или убийственная тоска. Я должен снять с тебя этот груз и переложить его на свои собственные плечи. Я должен напомнить себе, что ни ты, ни твой отец, будь хоть тысяча таких, как вы, не в силах погубить такого человека, как я; я сам навлек на себя гибель, - каждый, как бы он ни был велик или ничтожен, может погибнуть лишь от собственной руки. Я готов это признать. Я стараюсь признать это, хотя сейчас ты, может быть, этого и не заметишь. Но если я и бросаю тебе безжалостные упреки, подумай, как беспощадно я осуждаю самого себя. Какое бы ужасное зло ты мне ни причинил, я сам навлек на себя зло еще более ужасное.

Я был символом искусства и культуры своего века. Я понял это на заре своей юности, а потом заставил и свой век понять это. Немногие достигали в жизни такого положения, такого всеобщего признания. Обычно историк или критик открывают гения через много лет после того, как и он сам, и его век канут в вечность, - если такое открытие вообще состоится. Мой удел был иным. Я сам это

чувствовал и дал это почувствовать другим. Байрон был символической фигурой, но он отразил лишь страсти своего века и пресыщение этими страстями. Во мне же нашло свое отражение нечто более благородное, не столь преходящее, нечто более насущное и всеобъемлющее.

Боги щедро одарили меня. У меня был высокий дар, славное имя, достойное положение в обществе, блистательный, дерзкий ум; я делал искусство философией, и философию - искусством; я изменял мировоззрение людей и все краски мира; что был я ни говорил, что бы ни делал - все повергало людей в изумление; я взял драму - самую безличную из форм, известных в искусстве, и превратил ее в такой же глубоко личный способ выражения, как лирическое стихотворение, я одновременно расширил сферу действия драмы и обогатил ее новым толкованием; все, к чему бы я ни прикасался, - будь то драма, роман, стихи или стихотворение в прозе, остроумный или фантастический диалог, все озарялось неведомой дотоле красотой; я сделал законным достоянием самой истины в равной мере истинное и ложное и показал, что ложное или истинное - не более, чем обличья, порожденные нашим разумом. Я относился к Искусству, как к высшей реальности, а к жизни - как к разновидности вымысла; я пробудил воображение моего века так, что он и меня окружил мифами и легендами; все философские системы я умел воплотить в одной фразе и все сущее - в эпиграмме.

Но вместе с этим во мне было и много другого. Я позволял себе надолго погружаться в отдохновение бесчувствия и чувственности. Я забавлялся тем, что слыл фланером, денди, законодателем мод. Я окружал себя мелкими людишками, низменными душами. Я стал растратчиком собственного гения и испытывал странное удовольствие, расточая вечную юность. Устав от горних высот, я нарочно погружался в бездну, охотясь за новыми ощущениями. Отклонение от нормы в сфере страсти стало для меня тем же, чем был парадокс в сфере мысли. Желание в конце концов превратилось в болезнь или в безумие - или в то и другое сразу. Я стал пренебрежительно относиться к чужой жизни. Я срывал наслаждение, когда мне было угодно, и проходил мимо. Я позабыл, что любое, маленькое и будничное, действие создает или разрушает характер, и потому все, что делалось втайне, внутри дома, будет в свой день провозглашено на кровлях. Я потерял власть над самим собой. Я уже не был Кормчим своей Души и не ведал об этом. Тебе я позволил завладеть мной, а твоему отцу - запугать меня. Я навлек на себя чудовищное бесчестье. Отныне мне осталось только одно - глубочайшее Смирение - так же, как и для тебя тоже ничего не осталось, кроме глубочайшего Смирения. Лучше бы тебе повергнуться во прах рядом со мной и принять это.

Вот уже почти два года, как я брошен в тюрьму. Из глубины моей души вырвалось дикое отчаяние, всепоглощающее горе, на которое даже смотреть без жалости было невозможно, ужасная, бессильная ярость, горький ропот и возмущение; тоска, рыдающая во весь голос; обида, не находившая голоса, и скорбь, оставшаяся безгласной. Я прошел через все мыслимые ступени страдания. Теперь я лучше самого Вордсворта понимаю, что он хотел сказать в этих строках: "Темна, черна и неизбывна Скорбь и бесконечна по своей природе". Но хотя мне и случалось радоваться мысли, что моим страданиям не будет конца, я не в силах думать о том, что они лишены всякого смысла. Но в самой глубине моей души что-то таилось, что-то говорило мне: ничто в мире не бессмысленно, и менее всего - страдание. И то, что скрывалось глубоко в моей душе, словно клад в земле, зовется Смирением.

Это последнее и лучшее, что мне осталось; завершающее открытие, к которому я пришел; начало нового пути, новой жизни. Смирение пришло ко мне изнутри, от меня самого - и поэтому я знаю, что оно пришло вовремя. Оно не могло прийти ни раньше, ни позже. Если бы кто-нибудь рассказал мне о нем, я бы от него отсекся. Если бы мне принесли его - я бы отказался. Но я сам нашел его и хочу сохранить. Я должен его сохранить. Это единственное, что несет в себе проблески жизни, новой жизни, моей Vita Nuova. Смирение самая странная вещь на свете. От него нельзя избавиться, и из

чужих рук его не получишь. Чтобы его приобрести, нужно потерять все до последнего. Только когда ты лишен всего на свете, ты чувствуешь, что оно сделалось твоим достоянием. И теперь, когда я чувствую его в себе, я совершенно ясно вижу, что мне делать - что я непременно должен сделать. Нет необходимости говорить тебе, что, употребляя подобные слова, я не имею в виду никакое разрешение или приказание извне. Я им не подчинюсь. Я теперь стал еще большим индивидуалистом, чем когда бы то ни было. Для меня ценно только то, что человек находит в самом себе, - остальное не имеет ни малейшей цены. Глубочайшая суть моей души ищет нового способа самовыражения только об этом я и пекусь, только это меня и трогает. И первое, что мне необходимо сделать, - это освободиться от горечи и обиды по отношению к тебе.

У меня нет ни гроша, нет крыши над головой. Но бывают на свете вещи и похуже. Говорю тебе совершенно искренне: я не хочу выйти из тюрьмы с сердцем, отягощенным обидой на тебя или на весь мир, - уж лучше я с легким сердцем пойду просить милостыню у чужих дверей. Пусть в богатых домах я не получу ничего, а бедные что-нибудь подадут. Те, у кого все в избытке, часто жадничают. Те, у кого все в обрез, всегда делятся. И пусть мне придется спать летом в прохладной траве, а зимой - укрываться в плотно сметанном стогу сена или на сеновале в просторном амбаре - лишь бы любовь жила в моем сердце. Теперь мне кажется, что все внешнее в жизни не заслуживает ни малейшего внимания. Ты видишь, до какого крайнего индивидуализма я теперь дошел - или, точнее, дохожу, ибо путь еще далек, и "я ступаю по терниям". Разумеется, я знаю, что мне не суждено просить милостыню на дорогах, и если уж мне случится лежать ночью в прохладной траве, то только затем, чтобы слагать сонеты Луне. Когда меня выпустят из тюрьмы, за тяжелыми, обитыми железными гвоздями воротами меня будет ждать Робби - не только в свидетельство своей собственной преданности, но и как символ той привязанности, которую питают ко мне многие люди. По моим предположениям, мне хватит на жизнь, по крайней мере, года на полтора, так что если я не смогу писать прекрасные книги, то читать прекрасные книги я уж во всяком случае смогу, а есть ли радость выше этой? А со временем, надеюсь, я сумею возродить свой творческий дар.

Но даже если бы все сложилось иначе: если бы в целом мире у меня не осталось ни единого друга: если бы ни в один дом меня не впустили, даже из милосердия; если бы мне пришлось надеть убогие лохмотья и взять нищенскую суму, - все равно, пока я свободен от обиды, ожесточения, негодования, я смотрел бы на жизнь куда спокойнее и увереннее, чем тогда, когда тело облечено в пурпур и тончайшее полотно, а душа в нем изнывает от ненависти. Мне будет вовсе не трудно простить тебя - и это чистейшая правда. Но чтобы это принесло мне радость, ты должен почувствовать, что нуждаешься в прощении. Когда ты по-настоящему захочешь этого - оно будет ждать тебя, ты увидишь.

Стоит ли говорить, что мой подвиг на этом не кончится. Это было бы слишком легко. Мне предстоит преодолеть еще много трудностей, взобраться на кручи куда более обрывистые и пройти куда более угрюмые ущелья. И все это я должен преодолеть в самом себе. Ни Религия, ни Мораль, ни Разум никак не помогут мне.

Мораль мне не поможет. Я рожден для антиномий. Я - один из тех, кто создан для исключений, а не для правил. И хотя я не вижу ничего дурного в том, как человек поступает, я понимаю, что ему грозит опасность сделаться дурным человеком. Хорошо, что я это понял.

Религия мне не поможет. Другие верят в нечто невидимое, я же верю только в то, что можно потрогать, что можно увидеть. Мои боги обитают в рукотворных храмах, и только в пределах живого жизненного опыта мои верования находят свое наиболее совершенное и полное воплощение: может быть, даже слишком полное, потому что, подобно многим, кто поместил свое Небо здесь, на земле, я

нашел здесь не только прелести Рая, но и все ужасы Ада. Вообще, когда я размышляю о религии, мне хочется основать орден для тех, кто не в силах уверовать; его можно было бы назвать Братством Лишенных Веры - там священник, в чьем сердце нет мира, совершает перед алтарем, на котором не горит ни одна свеча, причастие хлебом, на котором нет благодати, над чашей, где нет вина. Все на свете, чтобы стать истиной, должно сделаться религией. Агностицизм имеет право на собственные обряды не меньше, чем вера. Он посеял своих мучеников, он может пожать сонмы своих святых, ежедневно вознося хвалы Господу за то, что Он скрыл свой лик от человека. Но что бы то ни было - вера или безверие, это не должно прийти ко мне извне. Символы своей веры я должен сотворить сам. Духовно только то, что создает свою собственную форму. Если я не раскрою эту тайну в самом себе, мне никогда ее не разгадать. И если я еще не нашел ответа, мне не найти его никогда.

Разум мне не поможет. Он говорит мне, что законы, по которым я осужден, - законы ложные и несправедливые, а система, карающая меня страданиями, ложная и несправедливая система. Но мне необходимо как-то поверить в то, что и закон и наказание - праведны и справедливы. В Искусстве всегда сосредоточиваешься только на том, чем определенный предмет является для тебя лично в определенный момент времени - и точно так же это происходит в этической эволюции человеческого характера. Мне необходимо сделать так, чтобы все, что со мной произошло, обратилось для меня в добро. Дошатаые нары, тошнотворное пойло, жесткие канаты, из которых щиплешь паклю, пока кончики пальцев не онемеют от боли, физическую работу, которой начинается и кончается каждый день, грубые окрики, которые здесь в обычае, чудовищный наряд, превращающий страдальца в шута, молчанье, одиночество, стыд - все это вместе и по отдельности мне нужно претворить в духовный опыт. Все телесные унижения - все до единого - я должен использовать для возвышения души.

Я хочу достигнуть того состояния, когда смогу в полной простоте и без всякой аффектации сказать, что в моей жизни было два великих поворотных пункта: когда мой отец послал меня в Оксфорд и когда общество заточило меня в тюрьму. Я не стану говорить, что тюрьма - лучшее из всего, что могло со мной случиться, - такое утверждение слишком сильно отдавало бы горечью по отношению к самому себе. Я охотнее сказал бы - или услышал о себе - другое: я был настолько типичным сыном своего века, что в своей испорченности, и ради этой испорченности, обратил все доброе в своей жизни во зло, а все дурное - в добро.

Но что бы ни говорил я сам или другие - это все неважно. Самое важное то, что мне предстоит, то, что я должен сделать, если не хочу до конца своих дней оставаться запятанным, очерненным, несовершенным, это вобрать все, что со мной произошло, в самую глубину своей души, слиться с этим воедино, принять это без сетований, ропота, без страха, без сопротивления. Поверхностность - самый страшный порок. Все, что понято, оправдано.

Когда я переступил порог тюрьмы, некоторые советовали мне позабыть, кто я такой. Это был губительный совет. Только сознавая, кто я такой, я обрел возможность утешения. А теперь другие люди советуют мне по выходе из тюрьмы начисто позабыть, что я вообще когда-либо был в тюрьме. Я знаю, что это было бы столь же губительно. Это означало бы, что всю жизнь меня преследовало бы непереносимое ощущение позора и что все, на что я имею такое же право, как остальные - красота солнца и луны, торжественное шествие времен года, музыка рассвета и величавое молчание ночей, дождь, шелестящий в листве, и роса, медленно заливающая травы серебряным блеском, - все это для меня было бы загрязнено, лишено волшебной целительной силы и неспособно приносить радость. Отбросить то, что ты пережил, - значит положить конец своему собственному совершенствованию. Отречься от того, что ты пережил, - значит осквернить ложью уста своей собственной жизни. Это все равно что отречься от своей Души. Точно так же, как тело усваивает все - скверное и нечистое так же, как и то, что очищено священником или видением, - и превращает все это в стремительность или мощь,

в игру великолепных мускулов и в лепку пленительной плоти, в очертанья и краски волос, губ и глаз, - так и Душа, в свой черед, тоже способна питаться и может превращать в благородные помышления и высокие страсти то, что само по себе низменно, жестоко, унижительно, - нет, более того, может найти в этом наиболее величественные формы самоутверждения и зачастую проявляет себя во всем совершенстве через то, что должно было бы осквернить ее или разрушить. Я должен открыто признать, что был самым обыкновенным узником в самой обычной тюрьме: как ни странно это тебе покажется, но я должен научиться не стыдиться этого. Я должен принять это, как наказание. - а если стыдишься наказания, то его как бы и не было, оно проходит впустую. Конечно, меня осудили за многие поступки, которых я не совершал, но осудили и за многие совершенные мною поступки, а ведь я сделал в жизни еще много такого, в чем мне даже не предъявили обвинения. Я уже говорил в этом письме, что боги непостижимы - и карают нас и за все доброе и человеческое в нас, и за все злое и преступное, - а теперь я должен признать, что каждый получает наказание и по своим добрым, и по своим злым делам. И я не сомневаюсь, что так и должно быть. Это помогает человеку - или должно помогать - понять и добро и зло и не кичиться ни тем, ни другим. И тогда, не стыдясь выпавшего на мою долю наказания - надеюсь, что добьюсь этого, я смогу думать, двигаться, жить, чувствуя себя свободным.

Многие, выйдя на свободу, уносят свою тюрьму с собой на свежий воздух, прячут ее в сердцах, как тайный позор, и в конце концов, подобно несчастной отравленной твари, заползают в какую-нибудь нору и умирают. Какая жалость, что их к этому вынуждают, и какая несправедливость чудовищная несправедливость - со стороны Общества, которое их к этому вынуждает! Общество считает своим правом обрушивать на личность страшные кары, но оно страдает страшнейшим пороком верхоглядства и не ведает, что творит. Когда срок наказания истекает, оно предоставляет человека самому себе, то есть бросает его в тот момент, когда следовало бы приступить к исполнению самого высокого долга общества перед человеком. В действительности оно стыдится собственных деяний и избегает тех, кого покарало, как люди избегают кредитора, которому не могут уплатить, или тех, кому они причинили непоправимое, неизбывное зло. Я со своей стороны требую одного: если я осознаю все, что выстрадал. Общество тоже должно осознать зло, которое оно мне причинило: чтобы ни с той, ни с другой стороны не осталось ни обиды, ни ненависти.

Конечно, я знаю, что в одном отношении мне будет гораздо труднее, чем другим, - так и должно быть; это заложено в сути моего обвинения. Несчастные воры и бродяги, заключенные здесь, во многом счастливее меня. Малое местечко в сером городе или на зеленом лугу, ставшее свидетелем их греха, так ограничено: чтобы очутиться среди людей, не подозревающих об их преступлении, им достаточно уйти не дальше, чем птица пролетает между предрассветными сумерками и рассветом, - для меня же "весь мир стеснился шириной в ладонь", и куда бы я ни обратился, повсюду я вижу свое имя, вырезанное на камне. Потому что для меня это не был переход от неизвестности к минутной шумихе вокруг преступления - я перешел от некоей бесконечности славы в бесконечность обесславленности, и порой мне кажется, что я доказал, - если это нужно доказывать, - что между почестями и бесчестьем всего один шаг, если не меньше.

И все же именно в том, что люди будут узнавать меня повсюду, куда бы я ни попал, и будут знать все о моей жизни, по крайней мере, о ее безумствах, я могу найти нечто для себя благотворное. Это заставит меня силой необходимости снова утвердить себя как художника - и как можно скорее. Если мне удастся создать хотя бы одно прекрасное произведение искусства, я сумею лишить злословие яда, а трусость - язвительной усмешки и вырву с корнем язык, поносящий меня. И если Жизнь будет для меня задачей, то и я тоже непременно буду задачей для Жизни. Люди должны будут выработать какое-то отношение ко мне - и тем самым они вынесут приговор разом и себе и мне. Стоит ли напоминать, что я имею в виду не отдельные личности. Люди, среди которых отныне мне хочется быть, - это художники и те, кто страдал: те, кто познал Прекрасное, и те, кто познал Скорбь, меня больше никто

не интересует. И от Жизни я тоже ничего не требую. Все, что я высказал, относилось к моему внутреннему отношению к Жизни в целом, и я чувствую, что одна из первых целей, которую я должен поставить перед собой, - не стыдиться своего наказания; это я должен сделать и ради собственного совершенствования, и потому, что я так далек от совершенства.

Затем я должен научиться чувствовать себя счастливым. Когда-то я знал это - или думал, что знаю, - чисто инстинктивно. Раньше в моем сердце всегда была весна - без конца и без края. Моя натура была родственна радости. Я наполнял свою жизнь наслаждением до краев, как наполняют чашу вином - до самого края. Теперь я смотрю на жизнь совсем с другой стороны, и подчас мне невероятно трудно даже представить себе, что такое счастье. Помню, как в Оксфорде в первом семестре я читал "Ренессанс" Патера книгу, которая так странно повлияла на всю мою жизнь, - о том, что Данте помещает в глубину Ада тех, кто своевольно живет в печали. Я пошел в библиотеку и отыскал те строки в "Божественной Комедии", где говорится, что в мрачном болоте лежат те, кто "был мрачен в день прекрасный", и, вздыхая, сетуют: "в воздухе родимом, который блещет, солнцу веселясь, мы были скучны".

Я знал, что церковь осудила accidia [уныние (лат.)], но сама по себе даже эта мысль казалась мне совершенно фантастичной - я думал, что лишь монах, который ничего не знает о жизни, может счесть это грехом. Мне было непонятно, отчего Данте, который сам утверждает, что "страданье возвращает нас к Богу", так жестоко обошелся с теми, кто влюблен в печаль, - если такие люди в действительности существовали. Я и подумать не мог, что когда-нибудь это предстанет передо мной как одно из величайших искушений всей моей жизни. Пока я был в Уондсвортской тюрьме, я жаждал смерти. Это было мое единственное желание. Когда, пробыв два месяца в тюремной больнице, я попал сюда и заметил, что мое телесное здоровье постепенно улучшается, я был вне себя от ярости. Я решил покончить с собой в тот день, когда выйду из тюрьмы. Но со временем это злобное наваждение прошло, и я решился жить, но облечься в угрюмство, как Король в пурпур: никогда в жизни не улыбаться; превращать каждый дом, порог которого я переступлю, в дом скорби; заставить своих друзей медленно шествовать рядом со мной, словно в траурной свите; доказать им, что истинный тайный смысл жизни - в меланхолии; отравить их неведомой печалью, ранить их своей собственной болью. Но теперь мои чувства полностью переменялись. Я понимаю, как неблагодарно и черство встречать друзей, которые пришли навестить меня, с таким похоронным лицом, чтобы им приходилось напускать на себя еще более мрачный вид, выражая мне свое сочувствие, и предлагать им безмолвно разделить со мной поминальную трапезу и поить их горькими зельями. Я должен научиться быть веселым и радостным.

Последние два раза, когда моим друзьям разрешили посетить меня здесь, я изо всех сил старался быть веселым, так, чтобы они видели это, - надо было хоть немного вознаградить их за то, что они приехали из города в такую даль повидаться со мной. Я знаю, что это ничтожное вознаграждение, но уверен, что именно это принесло им самую большую радость. В субботу на прошлой неделе я целый час провел с Робби и старался как можно явственнее показать ему, как я рад нашей встрече. И я вижу, что мысли и взгляды, которые я сформировал в себе здесь, совершенно правильны, потому что теперь, впервые с начала моего заключения, у меня действительно появилось желание жить.

Мне так много предстоит сделать, что умереть, прежде чем будет исполнена хотя бы малая часть этих дел, было бы для меня ужасной трагедией. Я вижу новые открытия в Искусстве и в Жизни, и каждое из них новая грань совершенства. Мне хочется жить, чтобы исследовать то, что стало для меня новым миром. Хочешь знать, что это за новый мир? Мне кажется, ты мог бы догадаться. Это мир, в котором я теперь живу.

Страданье и все, чему оно может научить, - вот мой новый мир. Я жил раньше только для наслаждений. Я избегал скорби и страданий, каковы бы они ни были. И то и другое было мне

ненавистно. Я решил приложить все усилия, чтобы не замечать их - то есть видеть в них лишь проявление несовершенства. Они не входили в мою жизненную схему. Им не было места в моей философии. Моя мать, зная все о жизни, часто читала мне строки Гете, которые Карлайл привел в книге, подаренной ей много лет назад:

Кто с хлебом слез своих не ел.

Кто в жизни целыми ночами

На ложе, плача, не сидел.

Тот незнаком с небесными властями

[пер. - Ф.Тютчев].

Эти строки часто читала в своем унижении и изгнании благородная королева Пруссии, которую Наполеон преследовал с такой свирепой жестокостью; эти строки повторяла моя мать во всех горестях, которые постигли ее впоследствии. А я наотрез отказался понимать и принимать великую правду, которую они несли. Я не мог этого постигнуть. Прекрасно помню, как я говорил ей не один раз, что не желаю есть свой хлеб в печали, не хочу проводить ночь в слезах в ожидании еще более горького рассвета.

Я и не подозревал, что именно на это Рок осудил меня в будущем, что в течение целого года мне и вправду почти ничего другого и не оставалось. Но таков уж был удел, предназначенный мне; и в последние несколько месяцев, после страшной борьбы и усилий, я научился внимать урокам, которые сокрыты в самой сердцевине боли. Церковники и те, кто произносит фразы, лишённые мудрости, иногда говорят, что страданье - это таинство. На самом деле это - откровение. Вдруг делаешь открытия, о которых раньше и не подозревал. Всю историю в целом начинаешь воспринимать с иной точки зрения. И то, что лишь смутно, бессознательно чувствовал в Искусстве, теперь предстает перед тобой с кристальной и совершенной ясностью, запечатлевается с невиданной силой.

Теперь я вижу, что Страданье - наивысшее из чувств, доступных человеку, - является одновременно предметом и признаком поистине великого Искусства. Художник всегда ищет те проявления жизни, в которых душа и тело едины и неотделимы друг от друга; в которых внешнее является выражением внутреннего; в которых форма раскрывает суть. Существует немало таких проявлений жизни; юность и все искусства, посвященные юности, - вот один из примеров, приходящих нам в голову, а подчас нам нравится думать, что современный пейзаж в котором так тонко отражена вся изысканность чувств и впечатлений, который несет в себе отпечаток духа, обитающего во всех внешних формах и создающего свое облачение равно из земли и прозрачного воздуха или из тумана и городских улиц, пейзаж, который в унылом созвучии настроений, оттенков и красок раскрывает нам в живописи то, что греки умели воплотить с таким пластическим совершенством. Музыка, в которой суть сосредоточена в экспрессии и неотделима от нее, - это сложный пример того, о чем я хочу сказать, а ребенок или цветок - самый простой; но Страдание высшая ступень совершенства, высший символ этого и в Жизни и в Искусстве. Радость и Смех могут скрывать за собой натуру грубую, жесткую и бесчувственную. Но за Страданием кроется одно лишь Страдание. Боль, в отличие от Наслаждения, не носит маски. Истина в Искусстве проявляется не в сочетании вечной идеи и преходящей формы; она - не в сходстве тела и его тени или образа, отраженного в кристалле, с самим образом; она - не эхо, отраженное от дальних холмов, и не источник серебряных вод в долине, показывающий Луне - Луну и Нарциссу - Нарцисса. Истина в Искусстве - это единение предмета с самим собою; внешнее, ставшее выражением внутреннего; душа, получившая воплощение; тело, исполненное духа. И поэтому нет истины, которая сравнилась бы со Страданием. Порой мне кажется, что Страдание единственная истина. Иные вещи могут быть иллюзиями зрения или вкуса, созданными для того, чтобы ослепить глаза и притупить вкус, но из Страдания создана Вселенная, а дети и звезды

рождаются в муках.

И более того - в Страдании есть необычайная, властная реальность. Я сказал о себе, что я был символом искусства и культуры своего века. Так вот - здесь, в этом забытом Богом месте, вокруг меня нет ни одного пропащего существа, которое не было бы символом глубочайшей тайны жизни. Ибо тайна жизни - в страдании. Оно таится везде и повсюду. Когда мы вступаем в жизнь, сладкое сладостно для нас, а горькое - огорчительно, и мы неизбежно устремляем все свои желания к наслаждению и мечтаем не только "месяц или два питаться медом сот", а во всю свою жизнь не знать иной пищи, - не понимая, что тем временем, быть может, душа наша "истаивает от голода".

Я помню, как однажды разговаривался об этом с самым прекрасным человеком из всех, кого мне довелось встречать, - с женщиной, чье сочувствие и благородная доброта ко мне и до и после моего трагического заключения не знают себе равных и недоступны для слов: с той женщиной, которая, сама того не подозревая, действительно помогла мне вынести бремя моих несчастий, как никто в целом мире; и только потому, что она живет на свете, потому что она такая, как есть, - одновременно идеальный образ и благотворное влияние, напоминанье о том, чем бы ты мог стать в сочетании с действенной помощью на этом пути, душа, превращающая затхлый воздух в свежесть и благоухание, а самые высокие духовные проявления - в явления столь же естественные, как солнечный свет или морская гладь; человек, для которого Красота и Страдание идут рука об руку и несут одну и ту же благую весть. Я совершенно ясно помню, как в разговоре, о котором идет речь, я сказал ей, что в одном тесном лондонском закоулке достанет горестей, чтобы доказать, что Бог не любит человека и что само наличие страдания - хотя бы это были всего-навсего слезы ребенка в уголке сада, пролитые из-за совершенного или несовершенного проступка, - уже беспросветно затмевает весь лик творения. И я был глубоко неправ. Она сказала мне об этом, но я не мог ей поверить. Я находился вне той сферы, где можно обрести такую веру. Теперь мне кажется, что только Любовь, какова бы она ни была, может объяснить тот невероятный избыток страдания, которым переполнен мир. Другого объяснения я не нахожу. И я уверен, что никакого другого объяснения нет, и если Вселенная и вправду, как я сказал, создана из Страдания, то создана она руками Любви, потому что для человеческой Души, ради которой и создана Вселенная, нет иного пути к полному совершенству. Наслаждение - прекрасному телу, но Боль - прекрасной Душе.

Когда я говорю, что постиг все это, в моих словах звучит неподобающая гордыня. В дальней дали, подобно безупречной жемчужине, виднеется Град Господень. Он так прекрасен, что кажется - ребенок добежит туда за один летний день. Да, ребенку это по силам. Но для меня и мне подобных - все обстоит иначе. Можно прозреть во мгновение ока, но все это забывается за долгие часы, которые приходят свинцовой поступью. Как трудно остаться на тех "высотах, что доступны для души". Мыслим мы в Вечности, но медленно движемся сквозь Время - и я не хочу говорить ни о том, как томительно тянется время для нас, узников, ни об изнеможении и отчаянии, украдкой вползающих в наши темницы и в темницы наших сердец, возвращающихся с таким непостижимым упорством, что приходится волей-неволей убирать и подметать свой дом к их приходу, словно к приходу незваного гостя или сурового хозяина, или раба, чьим рабом ты стал по воле случая или по собственной воле.

И хотя теперь тебе покажется невероятным то, что я скажу, это все же истинная правда: тебе, живущему на свободе, в праздности и комфорте, легче внимать урокам Смирения, чем мне, хотя я каждый день становлюсь на колени и мою пол в своей камере. Потому что человек восстает против тюремной жизни, полной бесконечных лишений и запретов. И самое страшное не то, что эта жизнь разбивает сердце - сердца создаются, чтобы быть разбитыми, - но то, что она обращает сердце в камень. Иногда чувствуешь, что только непробиваемый медный лоб и язвительная усмешка дадут тебе силы пережить этот день. А на того, кто возмутился душой, не снизойдет благодать, если употреблять

выражение, которое церковники так любят, - и любят вполне справедливо - добавлю я, - потому что и в жизни и в Искусстве возмущение замыкает слух души, и небесные звуки не достигают ее. И все же мне придется выучить эти уроки здесь, если я вообще хочу их выучить, и я должен радоваться и ликовать, если мои стопы направлены по верной дороге, а лицо обращено в сторону "врат, чье имя - Прекрасное", хотя бы мне предстояло много раз падать в грязь и часто сбиваться с дороги в тумане.

Эта новая жизнь - мне нравится так называть ее из любви к Данте - на самом деле, конечно, вовсе не новая жизнь, а простое продолжение, развитие или эволюция моей прежней жизни. Я помню, как сказал одному из своих друзей, когда мы были в Оксфорде, - мы бродили как-то утром накануне моих экзаменов по узеньким, звенящим от птичьего щебета дорожкам колледжа св.Магдалины, - что мне хочется отведать всех плодов от всех деревьев сада, которому имя - мир, и что с этой страстью в душе я выхожу навстречу миру. Таким я и вышел в мир, так я и жил. Единственной моей ошибкой было то, что я всецело обратился к деревьям той стороны сада, которая казалась залитой золотом солнца, и отвернулся от другой стороны, стараясь избежать ее теней и сумрака. Падение, позор, нищета, горе, отчаяние, страдания и даже слезы, бессвязные слова, срывающиеся с губ от боли, раскаяние, которое усеивает путь человека терниями, совесть, выносящая суровый приговор, самоуничужение, которое становится карой, несчастье, посыпающее голову пеплом, невыносимая мука, облекающая себя во вретнице и льющая желчь в собственное питье, - все это отпугивало меня. И за то, что я не желал знаться ни с одним из этих чувств, меня заставили испробовать все их по очереди, заставили питаться ими - и долго, очень долго у меня не было иной пищи.

Я ничуть не жалею, что жил ради наслаждения. Я делал это в полную меру - потому что все, что делаешь, надо делать в полную меру. Нет наслаждения, которого бы я не испытал. Я бросил жемчужину своей души в кубок с вином. Я шел тропой удовольствий под звуки флейт. Я питался сотовым медом. Но жить так постоянно - было бы заблуждением, это обеднило бы меня. Мне нужно было идти дальше. В другой половине сада меня ждали иные тайны. И, конечно, все это было предсказано, предназначено в моем творчестве. Кое-что можно найти в "Счастливом Принце", кое-что - в "Юном Короле", особенно в тех строках, где Епископ обращается к коленапреклоненному юноше: "Тот, кто создал несчастье, не мудрее ли тебя?" - когда я писал эту фразу, она казалась мне не более чем фразой; и очень многое скрыто в той теме Рока, которая красной нитью вплетается в золотую парчу "Дориана Грея"; в статье "Критик в роли художника" это переливается всеми цветами радуги; в "Душе человека" это написано просто и читается слишком легко; это один из рефренов, тема которого, постоянно возвращаясь, придает "Саломее" такое сходство с музыкальной пьесой и связывает ее воедино, как балладу; оно нашло свое воплощение в стихотворении в прозе о человеке, который бронзовую статую "Наслажденья, что живет лишь миг" должен перелить в изображение "Скорби, что пребудет вечно". Иначе и не могло быть. В каждый момент своей жизни человек представляет собой не только то, чем он был, но и то, чем он станет. Искусство символично, потому что человек - это символ.

И если мне удастся добиться этого в полной мере, моя творческая жизнь найдет свое самое законченное воплощение. Потому что творческая жизнь это просто самосовершенствование. Смирение художника проявляется в том, что он принимает с открытой душой все, что бы ни выпало на его долю, а Любовь художника - лишь то чувство Красоты, которое обнажает перед миром свое тело и свою душу. Патер в своем "Мариусе-эпикурейце" старается воссоединить жизнь художника с религиозной жизнью - в самом глубоком, прекрасном и строгом смысле слова. Но Мариус - по преимуществу зритель; хотя надо признать, что он идеальный зритель - из тех, кому дано "созерцать зрелище жизни с подобающими чувствами", по определению Вордсворта, считавшего это целью поэта; но все же не более чем зритель, и, быть может, зритель, слишком увлеченный прелестью Сосудов Святилища, чтобы заметить, что перед ним Святилище Скорби.

Я нахожу гораздо более глубокое и непосредственное соприкосновение подлинной жизни Христа с подлинной жизнью художника и испытываю острую радость при мысли, что задолго до того, как скорбь взяла меня в свои руки и предала меня колесованию, я писал в "Душе человека", что человек, стремящийся в своей жизни подражать Христу, должен всецело и неукоснительно оставаться самим собой. и привел в пример не только пастуха на холмах и узника в темнице, но и живописца, для которого весь мир зрелище, и поэта, для которого весь мир - песня. Помню, я как-то сказал Андре Жиду, сидя с ним вместе в каком-то парижском кафе, что хотя Метафизика меня мало интересует, а Мораль - не интересует вовсе, но тем не менее все, когда-либо сказанное Платоном или Христом, может быть перенесено непосредственно в сферу искусства и найдет в ней свое наиболее полное воплощение. Это обобщение было столь же глубоко, как и ново.

Мы можем увидеть в Христе то полное слияние личности с идеалом, которое составляет истинное различие между классическим и романтическим Искусством и превращает Христа в подлинного предтечу романтического движения в жизни, но это не все: самую суть его личности, так же как и личности художника, составляло могучее, пламенное воображение. В сфере человеческих отношений он раскрывал то родственное внимание, которое в сфере Искусства является единственной тайной творчества. Он понимал проказу прокаженного, незрячесть слепого, горькое злосчастье тех, кто живет ради наслаждения, странную нищету богатых. Теперь тебе понятно - понятно ли? - что, написав мне в моем бедственном положении: "Когда вы не на пьедестале, вы никому не интересны. Как только вы заболаете в следующий раз, я немедленно уеду", ты был равно чужд и истинной природе художника, и тому, что Мэтью Арнольд называет "тайной Христа". Если не первое, то второе могло бы дать тебе почувствовать, что все, происходящее с другим, происходит с тобой лично, и если ты хочешь, чтобы перед тобою была надпись, которую ты мог бы читать на рассвете и на закате, на горе и на радость, начертай на стенах своего дома буквами, доступными солнечной позолоте и лунному серебру: "Все, что происходит с другим, происходит с тобой", - и если кто-нибудь спросит, что означает эта надпись, можешь ответить, что она означает "Сердце Господа Иисуса Христа и разум Шекспира".

Да, место Христа - среди поэтов. Все его понимание Человечности порождено именно воображением и только через воображение может быть осуществлено. Человек был для него, чем Бог - для пантеиста. Он был первым, кто признал единство и равенство рассеянных племен. До него были боги и люди, и, почувствовав, через чудо сострадания, что в нем воплотилось и то и другое начало, он стал именовать себя то сыном Божьим, то сыном Человеческим, смотря по тому, кем он себя ощущал. Он больше, чем кто-либо за всю историю человечества, пробуждает в нас то ощущение чуда, к которому всегда взывает Романтизм. До сих пор мне кажется почти непостижимой мысль, что молодой поселянин из Галилеи смог вообразить, что снесет на своих плечах бремя всего мира: все, что уже свершилось, и все прошедшие страдания, все, чему предстоит свершиться, и все страдания будущего: преступления Нерона, Цезаря Борджиа, Александра VI и того, кто был римским императором и Жрецом Солнца, все муки тех, кому имя Легион и кто имеет жилище во гробах, поработанные народы, фабричные дети, воры, заключенные, парии, - те, кто немوتствуют в угнетении и чье молчание внятно лишь Богу; и не только смог вообразить, но и сумел осуществить на деле, так что до наших дней всякий, кто соприкасается с его личностью, пусть не склоняясь перед его алтарем и не преклоня колен перед его служителями, - вдруг чувствует, что ему отпускаются его грехи во всем их безобразии, и красота его страдания раскрывается перед ним. Я говорил о нем, что Он стоит в одном ряду с поэтами. Это правда. И Софокл и Шелли ему сродни. Но и сама его жизнь - чудеснейшая из всех поэм. Во всех греческих трагедиях нет ничего, что превзошло бы ее в "жалостном и ужасном". И незапятнанная чистота главного действующего лица поднимает весь замысел на такую высоту романтического искусства, где страдания фиванского дома не идут в счет оттого, что они слишком чудовищны, и показывает, как ошибался Аристотель, утверждая в своем трактате о драме, что смотреть на муки

невинного - невыносимо. Ни у Эсхила, ни у Данте - этих суровых мастеров нежности, - ни у Шекспира, самого человеческого из всех великих художников, ни во всех кельтских мифах и легендах, где прелесть мира всегда туманится слезами, а жизнь человека - не более жизни цветка, не найти той прозрачной простоты пафоса, слившегося и сплетенного с тончайшим трагическим эффектом, которая сравняла бы их хотя бы приблизительно с последним актом Страстей Христовых. Тайная вечеря с учениками, один из которых уже продал его за деньги; смертельная скорбь в тихом, озаренном луной саду среди масличных деревьев; тот лицемерный друг, который приближается к нему, чтобы предать его поцелуем; и тот, все еще веривший в него и на котором, как на краеугольном камне, он надеялся основать Обитель Спасения для людей, отрекается от него прежде крика петуха на рассвете; его глубочайшее одиночество, покорность, принятие всего; и рядом с этим сцены, изображающие первосвященника, раздравшего в гневе свои одежды, и главного представителя государственной власти, который приказал принести воды в напрасной надежде омыть руки от крови невинного, обagrившей его навеки; и церемония венчания на царство Страдания, одно из самых дивных событий во всей известной нам истории; распятие Агнца невинного перед глазами его матери и ученика, которого он любил; солдаты, делящие ризы его между собою и об одежде его бросающие жребий; ужасная смерть, которой он даровал миру самый вечный из всех символов; и, наконец, его погребение в гробнице богача, в пеленах из египетского полотна с драгоценными ароматами и благовониями, словно он был царским сыном, - глядя на все это только с точки зрения искусства, чувствуешь себя благодарным за то, что самое торжественное богослужение в Церкви являет собой трагедийное действие без кровопролития, мистерию, представляющую даже Страсти своего Бога посредством диалога, костюмов, жестов; и я всегда с радостью и благоговением вспоминаю последнее, что нам осталось от греческого Хора, позабытого в Искусстве, - голос диакона, отвечающий священнику во время мессы. И все же жизнь Христа по сути своей - идиллия, настолько полно могут Страдания и Красота слиться воедино в своем смысле и проявлении, хотя в финале этой идиллии завеса в храме разодралась, и настала тьма по всей земле, и к двери гроба привалили большой камень. Его всегда видишь юным женихом в сопровождении друзей, - да и сам он называет себя женихом, - или пастырем, идущим по долине со стадом, в поисках зеленой травы и прохладных источников, или певцом, стремящимся воздвигнуть из музыки стены Града Господня, или влюбленным, чью любовь не вмещает мир. Его чудеса кажутся мне изумительными, как наступленье весны, и столь же естественными. Мне нисколько не трудно поверить тому, что обаяние его личности было так велико, что от одного его присутствия мир нисходил на страждущие души, а те, кто касался его рук или одежды, забывали о боли; что когда он проходил по дорогам жизни, люди, некогда не понимавшие тайну жизни, вдруг постигали ее, а те, кто был глух ко всем голосам, кроме зова наслаждения, впервые слышали голос Любви и находили его "сладостным, как лира Аполлона", что злые страсти бежали от лица его, и люди, чья тусклая, тупая жизнь была всего лишь разновидностью смерти, вставали, словно из могилы, когда он призывал их; что, когда он учил на склоне горы, толпа позабыла и голод, и жажду, и заботы мира сего, а друзьям, внимающим ему за трапезой, грубая пища казалась изысканной вода приобретала вкус доброго вина, и весь покой наполнялся ароматом и благоуханием нарда.

В "Жизни Иисуса" Ренана - это благородное Пятое Евангелие можно было бы назвать Евангелием от св.Фомы - где-то сказано, что величайшее достижение Христа в том, что он заставил людей и после смерти любить себя так же горячо, как и при жизни. И вправду, если он занимает достойное место в ряду поэтов, то среди любящих ему принадлежит первое место. Он знал, что любовь - это потерянная тайна мироздания, которую тщетно разыскивают все мудрецы, и что только через любовь можно прикоснуться к сердцу прокаженного или к Стопам Божиим.

И - самое главное - Христос был величайшим из всех Индивидуалистов. Смирение, так же как и свойственное художнику принятие всего происходящего, - это всего лишь способ самовыражения. Христос всегда ищет одного - души человеческой. Он называет ее "Царством Божиим" и находит ее в

каждом человеке. Он сравнивает ее с тем, что мало само по себе - с крохотным семечком, с горстью закваски, с жемчужиной. Ибо свою душу обретаешь только после того, как отрешись от всех чуждых страстей, от всего, нажитого культурой, - от всего, чем ты владел, будь то дурное или хорошее.

Со всей мятежностью, свойственной моей натуре, со всем упорством, на которое была способна моя воля, я сопротивлялся ударам судьбы, пока у меня не осталось ничего на свете, кроме Сирила. Я стал узником и нищим. Я потерял доброе имя, положение в обществе, счастье, свободу, богатство. Но одно бесценное сокровище у меня сохранилось - это был мой родной сын, мой первенец. Внезапно закон вырвал его у меня. Это был такой сокрушительный удар, что я не знал, как жить дальше, и тогда я бросился на колени, склонил голову и со слезами сказал: "Тело ребенка - то же, что тело Господне: я недостоин ни того, ни другого". Мне кажется, что эта минута меня спасла. Я увидел, что мне остается только одно - со всем примириться. И с тех пор - как бы странно это ни показалось тебе - я стал счастливее. Ведь я постиг собственную душу, прикоснулся к самой ее высшей сути. Во многом я вел себя как ее злейший враг, но я увидел, что она встретила меня как друга. Когда прикасаешься к собственной душе, становишься простым, как дитя, - таким, как заповедал Христос.

Трагедия людей в том, что лишь немногие "владеют собственной душой", пока к ним не придет смерть. Эмерсон говорит: "Самостоятельный поступок вот что реже всего встречается в человеке". Это совершенно справедливо. Человек часто бывает не самим собой, а кем-то другим. Мысли большинства людей - это чьи-то чужие мнения, их жизнь - подражание, их страсти заемные страсти. Христос был не только величайшим, но и самым первым Индивидуалистом в Истории Люди пытались представить его заурядным филантропом, уподобляя его отталкивающим филантропам девятнадцатого века, или называли его Альтруистом, причисляя к людям непросвещенным и сентиментальным. Но он не был ни тем, ни другим. Конечно, он жалел бедняков и тех, кто брошен в темницы, униженных, несчастных - но еще большую жалость вызывали у него богатые, те, кто упорно гонится за наслаждениями, те, кто теряет свободу, отдаваясь в рабство вещам, те, кто носит тонкие одежды и живет в королевских покоях. Богатство и Наслаждение казались ему гораздо более глубокой трагедией, чем Бедность и Страданье. А что касается Альтруизма, то кто лучше него понимал, что нами правит призванье, а не пристрастье и что нельзя собирать виноград с терновника и смоквы с репейника?

Его кредо было не в том, чтобы сделать своей осознанной, определенной целью жизнь для других. Не это лежало в основе его убеждений. Когда он говорит: "Прощайте врагам вашим", - он говорит это не ради твоего врага, а ради тебя самого, и только потому, что Любовь прекраснее Ненависти. Увещевая юношу, которого он полюбил с первого взгляда, он говорит ему: "Продай все, что имеешь, и раздай нищим" - думая не о нужде бедняков, а о душе юноши, которую богатство губило. В своих взглядах на жизнь он заодно с художником, который знает, что по непреложному закону самосовершенствования поэту должно петь, скульптору - отливать свои мысли в бронзе, а художнику - превращать мир в зеркало своих настроений - столь же неизбежно и непременно, как шиповнику должно цвести по весне, зерну наливаться золотом к жатве, а Луне - превращаться из щита в серп и из серпа в щит в своих предначертанных странствиях.

Но хотя Христос и не говорил людям: "Живите ради других", - он указал, что нет никакого различия между чужой и своей жизнью. И этим он даровал человеку безграничную личность, личность Титана. С его приходом история каждого отдельного человека стала - или могла бы стать - историей всего мира. Конечно, спору нет - Культура сделала человеческую личность ярче. Искусство вселило в нас мириады душ. Те, кто наделен темпераментом художника, удаляются в изгнание вместе с Данте и познают, как горек чужой хлеб и как круты чужие лестницы; они на минуту проникаются безмятежной ясностью Гете и все же так хорошо понимают, отчего Бодлер воззвал к Богу:

*О Боже, дай мне сил глядеть без омерзенья
на сердца моего и плоти наготу.*

Из сонетов Шекспира эти люди, - быть может, на свою беду, - вычитывают тайну его любви и присваивают ее себе; они новым взглядом смотрят на окружающую их жизнь только потому, что услышали один из ноктюрнов Шопена, или подержали в руках вещи, созданные греками, или прочли историю любви давно умершего мужчины к давно умершей женщине, чьи волосы были похожи на тончайшие золотые нити, а губы напоминали зерна граната. Но все сочувствие артистического темперамента по праву отдается лишь тому, что нашло свое выражение. В словах ли или в цвете, в музыке или в мраморе, через раскрашенные маски Эсхиловой трагедии и через просверленные и соединенные стебли камыша сицилийского пастуха человек должен раскрыться и подать о себе весть.

Для художника экспрессия - это вообще единственный способ постижения жизни. То, что немо, - для него мертво. Но для Христа это было не так. Почти священный ужас вызывает дивная сила воображения, которым он охватил весь мир бессловесного, весь безгласный мир боли, и принял его в царствие свое, а сам навеки сделался его голосом. Тех, о ком я уже говорил, кто немотствует под гнетом и "чье молчанье внятно только Богу", он назвал братьями. Он старался стать глазами слепца, ушами глухого, воплем на устах того, чей язык присох к гортани. Он мечтал стать для мириад, не имеющих голоса, трубным гласом, зывающим к Небесам. И с пронизательностью художника, для которого Горе и Страдания были теми ипостасями, через которые он мог выразить свое понимание Прекрасного, он почувствовал, что ни одна идея не имеет цены, пока она не воплощена и не превратилась в образ, и сделал самого себя образом и воплощением Скорбящего Человека - и тем самым зачаровал и покори́л Искусство, как не удавалось ни одному из греческих богов.

Ведь греческие боги, как бы розоперсты и легконоги они ни были, во всей своей красе были не тем, чем казались. Крутое чело Аполлона было подобно солнечному диску, выплывающему из-за холмов на рассвете, а ноги его были словно крылья утра, но сам он жестоко обошелся с Марсием и отнял детей у Ниобеи; в стальных щитах очей Паллады не отразилась жалость к Арахне; пышность и павлинья свита Геры - это все, что в ней было истинно благородного; и Отец богов слишком уж часто пленялся дочерьми человеческими. В греческой мифологии были два образа, несущих в себе глубокий смысл: для религии это Деметра, богиня земных даров, не принадлежащая к сонму олимпийцев, для искусства - Дионис - сын смертной женщины, для которой час его рожденья стал часом ее смерти.

Но Жизнь породила среди самых бедных, самых смиренных людей того, кто был чудеснее матери Прозерпины или сына Семелы. Из мастерской плотника в Назарете вышла личность, бесконечно более грандиозная, чем все герои мифов и легенд, тот, кому было суждено, как ни странно, открыть миру мистическое значение вина и подлинную красоту полевых лилий - как никому и никогда не удавалось ни на Кифероне, ни в Энне.

Он считал, что стих Исаяи "он был презрен и умален перед людьми, муж скорбей и изведавший болезни; и мы отвращали от Него лице свое" - это предсказание, относящееся к нему, и в нем пророчеству суждено было исполниться. Не надо бояться подобных фраз. Произведения искусства, все до единого, - исполнения пророчеств. Потому что каждое произведение искусства - это превращение замысла в образ. И все без исключения человеческие существа должны быть исполнением пророчеств. Ибо каждый человек должен стать воплощением какого-то идеала или в сознании Бога, или в сознании человека. Христос нашел и увековечил прообраз, и в нем, чьего прихода ждал мир, в медлительном шествии веков воплотился сон какого-то поэта, подобного Вергилию, то ли в Иерусалиме, то ли в Вавилоне. "Столько был обезображен паче всякого человека лик Его, и вид его - паче сынов человеческих", - вот признаки, которые Исаяин отметил как приметы нового идеала, и как только Искусство постигло значение этих слов, этот идеал раскрылся, как цветок, в присутствии того,

в ком истина Искусства, в свою очередь, раскрылась с неведомой ранее полнотой. Ведь истина в Искусстве, как я уже говорил, и есть "то, в чем внешнее является выражением внутреннего; в чем душа становится плотью, а тело проникается духом - в чем форма выявляет суть", не так ли?

По-моему, печальнее всего тот поворот истории, из-за которого собственно Возрождение Христово, создавшее Шартрский собор, цикл легенд о короле Артуре, жизнь святого Франциска Ассизского, творчество Джотто и "Божественную Комедию" Данте, было прервано и искажено тем унылым классическим Ренессансом, который дал нам Петрарку, фрески Рафаэля, архитектуру школы Палладио, классическую французскую трагедию, и Собор св.Павла, и поэзию Попа, и все то, что создается извне, по мертвым канонам, а не вырывается изнутри, вдохновенное и продиктованное неким духом. Но где бы мы ни встречали романтическое движение в Искусстве, там в разных формах и обличьях - мы найдем Христа или душу Христа. Он присутствует и в "Ромео и Джульетте" и в "Зимней сказке", и в поэзии провансальских трубадуров, и в "Старом моряке", и в "Беспопашной красоте", и в чаттертоновской "Балладе о милосердии".

Ему мы обязаны существованием самых несходных творцов и творений. "Отверженные" Гюго, Боллеровы "Цветы зла", отзвук сострадания в русских романах, витражи, гобелены и произведения Берн-Джонса и Морриса в стиле кватроченто, Верлен и стихотворения Верлена - все это в той же мере принадлежит ему, как и Башня Джотто, Ланселот и Джиневра, Тангейзер, мятежные романтические изваяния Микеланджело и "пламенеющая" готика, как любовь к детям и к цветам - по правде сказать, цветам и детям было отведено так мало места в классическом искусстве, что им почти негде было расцвести или порезвиться, но начиная с двенадцатого столетия и до наших дней они постоянно появляются в искусстве, в разные времена и под разными обличьями, они приходят неожиданно и своенравно, как умеют только дети и цветы. Весною всегда кажется, будто цветы прятались и выбежали на солнце только потому, что испугались, как бы взрослым людям не наскучило искать их и они не бросили поиски, а жизнь ребенка - не более чем апрельский день, который несет нарциссу и дождь и солнце.

Именно благодаря присущему его натуре дару воображения Христос и стал животрепещущим сердцем романтики. Прихотливые образы поэтической драмы и баллады созданы воображением других, но самого себя Иисус Назарянин сотворил силой собственного воображения. Вопль Исайи, собственно говоря, относился к его пришествию несколько не больше, чем песня соловья к восходу луны, - не больше но, быть может, и не меньше. Он был в равной мере и отрицанием и подтверждением пророчества. Каждой оправданной им надежде соответствует другая, которую он разбил. Бэкон говорит, что всякой красоте присуща некая необычность соотношений, а Христос говорит о всех рожденных от духа, то есть о тех, кто, как и сам он, представляет собой действенную силу, что они подобны ветру, который "дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит". В этом и кроется его неодолимое для художников обаяние. Он несет в себе все яркие краски жизни: таинственность, необычайность, пафос, наитие, экстаз, любовь. Он взывает к ощущению чуда и сам творит то единственное состояние души, которое позволяет постигнуть его.

И я с радостью вспоминаю, что если сам он "отлит из одного воображенья", то ведь и весь мир создан из того же материала. В "Дориане Грее" я говорил, что все грехи мира совершаются в мыслях, но ведь и все на свете тоже совершается в мыслях. Теперь мы уже знаем, что видим не глазами и слышим не ушами. Они всего-навсего органы, точно или искаженно передающие наши ощущения. Только в нашем мозгу мак алеет, яблоко благоухает и жаворонок звенит.

В последнее время я довольно прилежно изучал четыре поэмы в прозе, написанные о Христе. На Рождество мне удалось достать греческое Евангелие, и теперь по утрам, покончив с уборкой камеры

и вычистив посуду, я понемногу читаю Евангелие, выбирая наугад десяток-другой стихов. Начинать таким образом каждый день чудесно. Как важно было бы тебе, в твоей беспорядочной бурной жизни, так же начинать свой день. Это принесло бы тебе громадную пользу, а греческий текст совсем не труден. Бесконечные, ко времени и не ко времени, повторенья отняли у нас наивность, свежесть и очарование романтической простоты Нового завета. Нам его читают вслух слишком часто и слишком дурно, а всякое повторение убивает духовность. Когда возвращаешься к греческому тексту, кажется, что вышел из тесного и темного дома в сад, полный лилий.

А мне это приносит двойную радость, когда я подумаю, что, вполне вероятно, там встречаются *ipsissima verba* [подлинные слова (лат.)], которые произносил Иисус. Всегда считали, что Христос говорил по-арамейски. Так думал даже Ренан. Но теперь мы знаем, что галилейские крестьяне владели двумя языками, как и ирландские крестьяне в наши дни, а греческий язык был общепринятым разговорным языком не только в Палестине, но и везде на Востоке. Мне всегда было неприятно думать, что слова Христа мы знаем только по переводу перевода. И меня радует то, что его разговорная речь, по крайней мере, позволила бы Хармиду слушать его, Сократу - спорить с ним, а Платону - понимать его; что он действительно сказал: "я есмь пастырь добрый"; что, когда он размышлял о лилиях полевых и о том, что они не трудятся, не прядут, его собственные слова были: "Посмотрите на полевые лилии, как они растут не трудятся, не прядут" и что, когда он воскликнул: "Жизнь моя завершилась, ее назначение исполнено, она достигла совершенства", - последнее его слово было именно то, которое нам сообщил св.Иоанн: "совершилось" - и только.

Читая Евангелия, в особенности от Иоанна - какой бы ранний гностик ни присвоил себе его имя и плащ, - я вижу не только постоянное утверждение воображения как основы всей духовной и материальной жизни, но понимаю, что воображение Христа было просто воплощением Любви и что для него Любовь была Богом в самом полном смысле слова. Недель шесть тому назад тюремный врач разрешил давать мне белый хлеб вместо черствого черного или серого хлеба, входящего в обычный рацион заключенных. Это величайшее лакомство. Тебе, конечно, странно подумать, что сухой хлеб для кого-то может быть лакомством. Но, уверяю тебя, для меня это такой деликатес, что каждый раз после еды я собираю все крошки до последней со своей оловянной тарелки и с грубого полотенца, которое мы подстилаем, чтобы не запачкать стол, и я подбираю их не от голода - теперь мне еды хватает, - но только ради того, чтобы ничто, доставшееся мне, не пропало даром. Так же надо относиться и к любви.

Христос, как и все, кто обладает неотразимым личным обаянием, не только умел сам говорить прекрасные слова, но своей силой заставлял и других говорить ему прекрасные слова: я люблю у св.Марка рассказ о греческой женщине - когда Христос, чтобы испытать ее веру, сказал ей, что не хорошо взять хлеб у детей Израиля и бросить псам. Она отвечала, что и маленькие собачки - это надо переводить, как "маленькие собачки" - под столом едят крохи, упавшие со стола у детей. Большинство людей добиваются любви и преклонения. А надо бы жить любовью и преклонением. Если кто-то любит нас, мы должны сознавать себя совершенно недостойными этой любви. Никто не достоин того, чтобы его любили. И то, что Бог любит человека, означает, что в божественном строе идеального мира предначертано, что вечная любовь будет отдана тому, кто вовеки не будет ее достоин. А если тебе показалось, что эту мысль слишком горько выслушивать, скажем, что каждый достоин любви, кроме того, кто считает себя достойным ее. Любовь - это причастие, которое надо принимать коленопреклонно, и слова "Domine, non sum dignus" [Господи, я не достоин (лат.)] должны быть на устах и в сердцах принимающих его. Мне хотелось бы, чтобы ты хоть иногда задумывался над этим. Тебе это так насущно необходимо.

Если я когда-нибудь снова стану писать - я имею в виду художественное творчество, - то выберу

только две темы: первая - "Христос как предтеча романтического движения в жизни", вторая - "Исследование жизни художника в соотношении с его поведением". И первая из них, конечно, невероятно увлекательна, потому что в Христе я вижу не только все черты, присущие высочайшему романтическому образу, но и все нечаянности, даже причуды романтического темперамента. Он первый из всех сказал людям, что они должны жить "как цветы полевые". Он увековечил эти слова. Он назвал детей образцом, к которому люди должны стремиться. Он поставил их в пример старшим - я тоже всегда считал, что в этом - главное назначение детей, если совершенству пристало иметь назначение. Данте говорит о душе человеческой, которая выходит из рук Бога, "смеясь и плача, как малое дитя", - и Христос тоже знал, что душа каждого человека должна быть a guisa di fanciulla, che piangendo e ridendo pargoleggia [как дитя, душа резвится, то смеясь, а то шутя (итал.); пер. М.Лозинский]. Он чувствовал, что жизнь изменчива, текуча, действительна и что сковывать ее какой бы то ни было формой - смерти подобно. Он знал, что люди не должны излишне серьезно относиться к вещам материальным, ежедневным; что быть непрактичным - великое дело, что о делах не следует слишком заботиться. "Если птицы так живут, зачем человеку беспокоиться?" Как прекрасно он говорит: "Не заботьтесь о завтрашнем дне. Душа не больше ли пищи и тело - одежды?" Последнюю фразу мог бы сказать любой из греков. Она проникнута эллинистическим духом. Но только Христос мог сказать обе фразы и этим дать нам полное и законченное определение жизни.

Вся его нравственность заключается в сочувствии, - именно такой ей и следует быть. Если бы он сказал за всю свою жизнь только эти слова: "Прощаются ей грехи ее за то, что возлюбила много", - то ради этого стоило умереть. Его справедливость была справедливостью поэтической - как ей и следует быть. Нищий попадает на небо, потому что он был несчастен. Я не могу представить себе лучшего ответа на вопрос, за что его туда взяли. Работники, собиравшие виноград всего один час в вечерней прохладе, получают плату, равную с теми, кто весь день напролет трудился под палящим солнцем. Что в этом удивительного? Быть может, никто из них вообще ничего не заслуживал. Или, может быть, это были разные люди. Христос терпеть не мог тупые, безжизненные, механические системы за то, что они относятся к людям, как к неодушевленным предметам, а значит, и обращаются со всеми одинаково: как будто любой человек (или неодушевленный предмет, если уж на то пошло) может быть похож на что-нибудь еще в целом мире. Для него не было правил - а были только исключения.

То, что представляет собой истинный лейтмотив романтического искусства, для него было правомерной основой действительной жизни. Другой основы он не видел. И когда к нему привели женщину, взятую в прелюбодеянии, напомнили ему приговор, положенный ей по закону, и спросили, что с ней сделать, он продолжал писать перстом на песке, словно не слыша их, и наконец оттого, что они приступали к нему снова и снова, восклонившись, сказал им: "Кто из вас без греха, первый брось в нее камень". Ради того, чтобы сказать эти слова, стоило жить.

Как и все поэтические натуры, он любил людей простых и необразованных. Он знал, что в душе невежественного человека всегда найдется место для великой идеи. Но он не выносил тупиц - в особенности тех, кого оглупило образование, - людей, набитых мнениями, в которых они ничего не смыслят; это тип - характерный для современности, описанный Христом: те, кто взял ключ разумения, сами не вошли и другим воспрепятствовали, хотя бы это был ключ от Царствия Небесного. Он боролся прежде всего с фарисеями. Это война, которая суждена каждому сыну света. Фарисейство было главной чертой века и общества, в котором он жил. Своей косной недоступностью новым идеям, своей тупой добропорядочностью, своей назойливой ортодоксальностью, преклонением перед дешевым успехом, безоглядной одержимостью, грубой, материальной стороной жизни и смехотворной переоценкой себя и своих достоинств иерусалимские иудеи тех дней были как две капли воды похожи на наших британских обывателей. Христос высмеивал эти "гробы повапленные" добропорядочности и заклеил их этими словами навеки. С неприязнью смотрел он на мирские успехи. Он их ни во что

не ставил. Он считал, что богатство обременяет человека. Он слышать не хотел о том, что можно принести чью-то жизнь в жертву какой бы то ни было системе мышления или нравственных правил. Он утверждал, что правила и обряды созданы для человека, а не человек - для правил и обрядов. Почитание Субботы было для него одной из вещей, не стоящих внимания. Холодную филантропию, показную общественную благотворительность, скучные формальности, столь любезные сердцу заурядного человека, он разоблачал гневно и неустанно. То, что называется ортодоксальностью, кажется нам всего лишь необременительным бездумным соблюдением правил, но тогда и в их руках оно превращалось в ужасную, парализующую тиранию. Христос отметал ее. Он показал, что дух единственная ценность. Он с большим удовольствием говорил им, что хотя они и читают без конца Пятикнижие и Книги Пророков, но не имеют о них ни малейшего представления. В противовес тем, кто расписывал каждый день на части, соблюдая закосневшие в своей рутинности предписанные обряды, как дают десятину с мяты и руты, он учил, насколько необходимо и важно всецело жить данной минутой.

Те, кому он отпустил грехи, были спасены просто за то, что в их жизни были прекрасные минуты. Мария Магдалина, увидев Христа, разбивает драгоценный алавастровый сосуд, подаренный ей одним из семерых ее любовников, и льет благовонные масла на его усталые, запыленные ноги - и за эту единственную минуту она вечно восседает теперь рядом с Руфью и Беатриче в кущах снежно-белой Райской розы. Мягким увещанием своим Христос говорит нам одно: что каждая минута должна быть прекрасна, что душа должна всегда быть готова к приходу Жениха, всегда должна прислушиваться к голосу Возлюбленного. Фарисейство - это та сторона человеческой природы, которая не озаряется светом воображения, а он все чудесные проявления жизни представляет себе в виде игры Света: само воображение для Него свет мира; мир сотворен воображением, и все же оно недоступно пониманию мира, потому что воображение - просто проявление Любви, а только любовью, или способностью любить, и отличается один человек от другого.

Но в своем отношении к Грешнику - вот где он достигает предельного романтизма, в смысле наивысшей реальности Мир издревле любил Святого за то, что он приблизился, насколько это возможно, к божественному совершенству. Мне кажется, что Христос любил Грешника, неким божественным инстинктом прозревая в нем наибольшую близость к человеческому совершенству. Он не ставил превыше всего ни стремление исправлять людей, ни стремление избавить их от страданий. Он не ставил себе целью превращать интересного разбойника в скучного честного человека. Общество Вспомоществования Узникам и другие подобные затеи не встретили бы его одобрения. Сделать из Мытаря Фарисея - это никак не показалось бы ему великим достижением. Но взглядом, пока еще непостижимым для мира, он видел, что грех и страдание - это нечто само по себе прекрасное, святое, исполненное совершенства. Эта идея выглядит опасной. Верно. Все великие идеи всегда опасны. Но нет ни малейшего сомнения в том, что это был символ веры Христа. И у меня нет ни малейшего сомнения, что этот символ веры и есть истина.

Конечно, грешник должен каяться. Но почему? Только лишь потому, что без этого он не сумеет осознать то, что сотворил. Минута раскаяния - это минута посвящения. И более того. Это путь к преображению собственного прошлого. Греки считали, что это невозможно. Среди их гномических афоризмов часто встречается утверждение: "Даже боги не в силах переменить прошлое". Христос показал, что это доступно даже самому отпетому грешнику. И это единственное, что тот может сделать. Я совершенно уверен, что если бы спросили самого Христа, он ответил бы, что в тот момент, когда блудный сын пал в ноги своему отцу с рыданиями, он воистину преобразил в прекрасные и святые события своей жизни и то, что он расточил свое имение с блудницами, и то, что пас свиней и рад был бы пойлу, которое они ели. Большинству людей трудно понять эту мысль. Мне думается - чтобы понять ее, нужно попасть в тюрьму. А если так, то ради этого стоило попасть в тюрьму.

Да, в Христе есть нечто единственное и неповторимое. Конечно, бывают перед рассветом ложные рассветы, и порой зимний день внезапно заиграет таким ярким солнцем, что обманутый крокус примется расточать свое золото прежде времени, а какая-нибудь глупая пташка - звать свою пару и строить гнездо на голых ветвях; были и христиане прежде Христа. Нам следует быть благодарными за это. Но все горе в том, что после него христиан уже не стало. Я допускаю одно исключение - св.Франциска Ассизского. Но ведь ему Господь даровал от рождения душу поэта, а сам он в ранней юности обручился с Нищетой и сочетался с ней мистическим браком; обладая душой поэта и телом нищего, он не встретил трудностей на пути к совершенству. Он понял Христа и поэтому уподобился ему. Нам не нужно читать Liber Conformitatum [Книга привычек (лат.)], чтобы узнать, что жизнь св.Франциска была истинным Imitatio Christi [подражанием Христу (лат.)], поэмой, в сравнении с которой книга, носящая то же название, звучит как простая проза. Да, именно в этом, как подумаешь, и заключается все обаяние Христа. Он сам настоящее произведение искусства. У него не обучаешься ничему, но в его присутствии ты сам становишься чем-то иным. Хотя бы единственный раз в своей жизни каждый из нас идет с Иисусом в Эммаус.

Выбор другой темы: "соотношение жизни художника и его поведения", несомненно, покажется тебе странным. Люди, указывая на Редингскую тюрьму, говорят: "Вот куда творческая жизнь привела человека". Что ж, она могла бы привести в места и похуже этого. Люди механические, те, для кого жизнь хитроумная спекуляция, основанная на скрупулезном расчете средств и путей, всегда знают, куда стремятся, и всегда туда попадают. Такой человек с самого начала хочет стать приходским служкой, и в какую бы сферу деятельности он ни попал, он останется только приходским служкой. Человек, кому хочется сделаться другим, а не самим собой, - стать членом парламента, удачливым лавочником, выдающимся стряпчим или судьей или кем-то столь же скучным, - неизменно добивается того, чего хочет. В этом его наказание. Тем, кто хотел иметь маску, приходится носить ее.

Но действенные силы жизни и те, в ком они воплощаются, проявляют себя по-другому. Люди, единственным стремлением которых становится самопознание, никогда не знают, куда идут. И знать этого они не могут. В определенном смысле слова, разумеется, необходимо "познать самого себя", как советовал греческий оракул. Это первое достижение познания. Но понять, что душа человека непознаваема, - это высшее достижение Мудрости. Ты сам последняя из всех тайн. Можно взвесить на весах солнце, измерить ход луны и нанести на карту все семь небесных сфер, звезда за звездой, но все еще не познать самого себя. Кто может исчислить орбиту собственной души? Когда сын Киса пошел искать ослиц своего отца, он не знал, что посланец Бога уже ожидает его, чтобы помазать на царство, и что сама душа его уже стала Царственной Душой.

Я надеюсь, что проживу достаточно долго и мне удастся создать такое творение, чтобы в конце дней своих я мог сказать: "Да, вот к чему творческая жизнь приводит художника". Две самых совершенных человеческих жизни, которые встретились на моем пути, были жизнь Верлена и жизнь князя Кропоткина: оба они провели в тюрьме долгие годы: и первый - единственный христианский поэт после Данте, а второй - человек, несущий в душе того прекрасного белоснежного Христа, который как будто грядет к нам из России. А в последние семь или восемь месяцев, несмотря на то что на меня одна за другой сыпались страшные беды, проникавшие сюда из внешнего мира, я вступил в непосредственное соприкосновение с новым духом, который проявляет себя здесь, в тюрьме, через людей и вещи, и который помог мне так, что выразить это словами невозможно; и если в первый год заключения я только и знал, что ломать руки в бессильном отчаянии, твердя: "Какой конец! Какой ужасный конец!" - и не помню, делал ли хоть что-нибудь другое, то теперь я стараюсь твердить себе, и порой, когда я не терзаю самого себя, я могу искренне сказать: "Какое начало! Какое чудесное начало!" Может быть, это правда. Это может стать правдой. И если это исполнится, я буду непомерно обязан тому новому влиянию, которое изменило жизнь каждого человека в этой тюрьме.

Вещи сами по себе ничего не значат - давайте хоть раз отблагодарим Метафизику за ее уроки. то есть вещи не существуют в реальности. Только дух имеет истинное значение. Наказание может быть применено таким образом, чтобы оно исцеляло, а не наносило раны, так же как и милостыню можно подавать так, что хлеб обращается в камень в руке дающего. Ты сможешь понять, какая настала перемена - не в уставе, потому что он утвержден железными правилами, но в самом духе, который использует устав как свое внешнее выражение, если я скажу тебе, что, выйди я отсюда в мае прошлого года, как мне хотелось, я покинул бы тюрьму, ненавиля ее и всех ее работников такой жгучей ненавистью, что она отравила бы всю мою жизнь. Я провел в заключении еще целый год, но Человечность обитала в тюрьме рядом со всеми нами, и отныне, когда бы я ни вышел отсюда, я всегда буду помнить ту великую доброту, которой меня дарили почти все окружающие, и в день своего освобождения я буду благодарить многих людей и просить их не забывать меня, как и я их не забуду.

Тюремная система абсолютно, вопиюще несправедлива. Я отдал бы все на свете, чтобы изменить ее, когда я выйду отсюда. Я намерен попытаться сделать это. Но нет в мире ничего столь несправедливого, чего дух Человечности, то есть дух Любви, дух Христа, обитающий вне храмов, не смог бы исправить, пусть не до конца, но, по крайней мере, настолько, чтобы несправедливость можно было снести, не ожесточаясь сердцем.

Я знаю также, что за стенами тюрьмы меня ждет столько радостей начиная с тех, кого св.Франциск Ассизский называет "брат мой, ветер" и "сестра моя, буря", - это такие чудесные вещи! - и кончая витринами магазинов и закатами в больших городах. Если я начну перечислять все, что мне осталось, то не смогу поставить точку - ведь Бог создал этот мир и для меня, не меньше, чем для других. Быть может, я вынесу отсюда что-то, чего у меня раньше не было. Я не стану напоминать тебе, что моральная "реформация" кажется мне столь же бессмысленной и пошлой, как и реформации теологические. Но если обещание исправиться и стать лучше - просто образчик невежественного пустословия, то сделаться более _глубоким_ человеком - заслуженная привилегия тех, кто страдал. И мне кажется, что я стал таким. Ты можешь сам судить об этом.

Если после того, как меня выпустят, мой друг устроит пиршество и не пригласит меня, я ничуть не обижусь. Я умею быть совершенно счастливым наедине с собой. Да кто же не был бы счастлив, владея свободой, книгами, цветами и луной? Кроме того, пиры теперь не для меня. Я так много их устраивал, что они потеряли для меня всякий интерес. С этой стороной жизни я покончил - к счастью, могу прибавить. Но если после моего освобождения друга постигнет горе и он не позволит мне разделить его, я горько, горько обижусь. Если он затворит передо мной двери дома, погруженного в траур, я буду возвращаться снова и снова, умоляя, чтобы меня впустили и разрешили мне разделить горе, потому что это я заслужил. Если он сочтет, что я недостойн, что мне не пристало плакать с ним вместе, я почувствую самое острое и болезненное унижение, и нет более ужасного способа предать меня позору и бесчестью. Но это не может случиться. Я заслужил право соучастия в Скорби, а тот, кто может впивать всю прелесть мира, разделять его горести и отчасти постигать чудо того и другого, вступает в непосредственное соприкосновение с божественными истинами и подходит к тайне Бога так близко, насколько это возможно.

Может статься, что в моем творчестве, как и в моей жизни, прозвучит голос еще более глубокий, говорящий о высшем согласии страстей, о неуклонности стремлений. Истинная цель современного Искусства - не широта, а глубина и сила. В Искусстве нас больше не интересует типичное. Нам нужно заниматься исключительным. Само собой разумеется, что мои страдания я не могу изобразить в том виде, какой они приняли в жизни. Искусство начинается лишь там, где кончается Подражание. Но в моем творчестве должно проявиться нечто новое, - может быть, более полная гармония слов или более богатый ритм, более необычные цветовые эффекты, более строгий архитектурный стиль, - во всяком

случае, какое-то новое эстетическое достоинство.

Когда Марсий был "вырван из ножен своих телесных" - dalla vagina delle membre sue, - употребляя самые страшные, самые тацитовские слова, какие только есть у Данте, - он позабыл свои былые песни, говорят греки. Аполлон одержал победу. Лира победила свирель. Но, может быть, греки заблуждались. В современном Искусстве я часто слышу плач Марсия. У Бодлера он полон горечи, у Ламартина - нежной жалобы, у Верлена - мистики. Он звучит в медленных блужданиях музыки Шопена. Он - в тревоге на всегда повторяющихся лицах женщин Берн-Джонса. Даже у Мэтью Арнольда, который в своей песне Калликла воспевает "триумф сладчайшей неотразимой лиры, славную последнюю победу" в таких прозрачных и прекрасных лирических строках, - даже в его стихах, проникнутых неотвязным и тревожным отзвуком сомнения и отчаяния, этот плач слышится ясно. Ни Гете, ни Вордсворт не могли исцелить его, хотя за каждым из них он следовал в свой час, а когда ему нужно было оплакать "Тирсиса" или воспеть "Бродячего школяра", то, стараясь передать свою мелодию, он берет в руки тростниковую свирель. Но безмолвствовал или нет Фригийский Фавн - я не могу молчать. Выразить себя мне так же необходимо, как черным ветвям деревьев, мятущимся на ветру над тюремной стеной, необходимо одеться листвой и процвести. Между моим творчеством и миром теперь разверзлась пропасть, но между мной и Искусством нет разлада. По крайней мере, я на это надеюсь.

Нам с тобой выпали разные жребии. Тебе в удел досталась свобода, наслаждения, развлечения, праздная жизнь - а ведь ты этого недостоин. Мне выпало на долю публичное бесчестье, долгое заключение, несчастье, разоренье, позор - и я этого тоже не заслужил, по крайней мере, пока еще не заслужил. Помню, я нередко говорил, что сумею вынести трагедию, если она посетит меня в пурпурном плаще и маске, подобающих благородной скорби, но что самая ужасная черта нашего времени - то, что оно умеет вырядить Трагедию в одежды Комедии, придавая великим событиям оттенок вульгарности, шутовства или дурного вкуса. В отношении современности это совершенно верно. Может быть, это так же справедливо и в отношении действительности в любой век. Говорят, что для зеваки любое мученичество всегда казалось унижительным. И девятнадцатый век не представляет собой исключения из этого общего правила. В моей трагедии все было чудовищно, низменно, отвратительно, лишено пристойности. Наше платье - и то превращает нас в шутов. Мы - паяцы страдания. Мы - клоуны с разбитыми сердцами. Мы для того и созданы, чтобы над нами потешались. Тринадцатого ноября 1895 года меня привезли сюда из Лондона. С двух часов до половины третьего я был выставлен на всеобщее обозрение на центральной платформе Клафамской пересадочной станции в наручниках и платье каторжника. Из тюремной больницы меня увезли совершенно неожиданно. Я представлял собой самое нелепое зрелище. Увидев меня, люди покатывались со смеху. И с прибытием каждого нового поезда толпа все разрасталась. Ее веселье было безгранично. И это еще до того, как люди узнали, кто я такой. А когда им это сообщили, они стали хохотать еще громче. Полчаса я стоял под свинцовым дождем, осыпaeмый издевательствами толпы.

Целый год после того, как меня подвергли этому позору, я плакал каждый день в то же время, те же полчаса. Это не так трагично, как ты можешь вообразить. Для тех, кто сидит в тюрьме, слезы - привычное времяпрепровождение. И если в тюрьме выпадает день, когда нет слез, - то это не значит, что у человека легко на сердце, - это значит, что сердце его ожесточилось.

Но теперь мне и вправду становится жаль тех, кто смеялся, больше, чем самого себя. Разумеется, они увидели меня отнюдь не на пьедестале. Я был выставлен в колодках у позорного столба. Но только люди, начисто лишённые воображения, интересуются фигурами на пьедесталах. Пьедестал может быть призрачным, нереальным. Позорный столб - ужасающая реальность. Не мешало бы этим людям разобраться получше и в природе страдания. Я говорил, что за Страданием всегда кроется только

Страдание. Но можно сказать лучше - за страданием всегда кроется душа. А издеваться над страждущей душой - это ужасно. И поистине неприглядна жизнь тех, кто на это способен. В мире действует удивительный по простоте закон экономии; люди получают только то, что дают, - и те, у кого не хватило воображения, чтобы отбросить все внешнее и проникнуться жалостью, - могут ли они рассчитывать на жалость, не смешанную с презрением?

Я рассказал тебе, как меня сюда перевозили, только для того, чтобы ты понял, как мне трудно извлечь из своего наказания что-нибудь, кроме горечи и отчаяния. И все же мне придется это сделать, и порой меня уже посещают минуты смирения и кротости. В одном-единственном бутоне может затаиться вся весна, а в гнездышке жаворонка на голой земле - все ликование, которое многократно провозгласит и поторопит приход алых утренних зорь, - может быть, и все то, что мне осталось прекрасного в жизни, сосредоточено в некоей минуте самоуничтожения, кротости и смирения. Так или иначе, я могу двигаться дальше, согласно предначертаниям моего собственного развития, и стать достойным того, что со мной произошло, достойно приняв все, что выпало мне на долю. Обычно говорили, что во мне слишком много индивидуализма. Я должен стать еще большим индивидуалистом, чем когда-либо раньше. Я должен брать у самого себя гораздо больше, чем раньше, и ждать от мира гораздо меньше. Ведь причиной всех моих несчастий был не избыток индивидуализма в жизни, а скорее недостаток. В моей жизни был один позорный, непростительный, достойный презрения во все времена поступок, я допустил, чтобы меня вынудили просить у Общества помощи и защиты от твоего отца. С точки зрения индивидуалиста вовсе не подобало подавать жалобу на кого бы то ни было, а уж тягаться с человеком такого характера и такого облика - совершенно непростительно.

Разумеется, стоило мне привести в движение Общественные силы, как Общество обратилось ко мне с вопросом: "Вел ли ты жизнь, согласную с моими законами, что взываешь теперь к защите этих законов? Ты сполна испытаешь действие этих законов на самом себе. Ты должен жить по тем законам, к которым прибегаешь за помощью". И кончилось это тем, что я - в тюрьме. И с какой горечью я сознавал всю постыдность и нелепость своего положения, видя, как во время всех трех моих процессов, начиная с суда первой инстанции, твой отец непрестанно вбегает и выбегает из зала суда, стараясь привлечь к себе всеобщее внимание, как будто кто-нибудь мог не заметить или не запомнить эту походочку и одеяние конюха, эти кривые ноги, судорожно дергающиеся руки, отвисшую нижнюю губу, эту скотскую ухмылку полоумного. Я чувствовал его присутствие и тогда, когда его не было, и когда я его не видел, и подчас мне казалось, что голые мрачные стены зала суда и даже воздух вокруг заполнены бесчисленными слепками с этой обезьяньей физиономии Да, никому еще до меня не приходилось падать так низко и от таких презренных рук. Где-то в "Дориане Грее" я писал, что "нужно с крайней осмотрительностью выбирать себе врагов" Я и не подозревал тогда, что пария сделает самого меня парией. Я презираю тебя так бесконечно именно за то, что ты настаивал, заставляя меня обратиться к помощи Общества, а самого себя осуждаю так же строго за то, что поддался на твои уговоры. То, что ты не ценил во мне художника, вполне простительно. Это в твоём характере и от тебя не зависело. Но ты мог бы ценить во мне Индивидуалиста Для этого никакой культуры не требуется. Это оказалось тебе не по силам, и ты внес дух фарисейства, обывательский дух в ту жизнь, которая вся была постоянным протестом против него, а в некоторых отношениях и полным его отрицанием. Обывательский дух в жизни - это не просто неспособность понимать Искусство. Такие чудесные люди, как рыбаки, пастухи, пахари, крестьяне и им подобные, ничего не знают об искусстве, а они - воистину соль земли. Обыватель - это тот, кто помогает и содействует тяжким, косным, слепым механическим силам Общества, кто не способен разглядеть силы динамические - ни в человеке, ни в каком-либо начинании.

Люди считали, что я ужасно веду себя, задавая обеды в таком дурном обществе, да еще и получая от этого удовольствие. Но с той точки зрения, с которой я, художник, смотрел на этих людей, они были

восхитительны, они вдохновляли, вливали в меня жизнь. Это было все равно, что пировать с пантерами. Опасность придавала всему остроту. Я чувствовал себя, как заклинатель змей, когда он выманивает кобру из-под пестрого платка или из тростниковой корзины, заставляет ее по приказу раздувать капюшон и раскачиваться в воздухе медленно, как водяное растение, колеблемое течением. Для меня они были самыми ослепительными из всех золоченых змей. Их смертоносность была частью их совершенства. Я не ведал, что им предстоит напасть на меня, плясать под твою дудку, а их ядовитый укус будет оплачен твоим отцом. Я нисколько не стыжусь знакомства с ними. Они были необычайно интересны. А вот той отвратительной обывательской атмосферы, в которую ты меня стащил, я стыжусь. Мне, как художнику, подобало иметь дело с Ариэлем. Ты заставил меня схватиться с Калибаном. И вместо того, чтобы создавать играющие изумительными красками музыкальные вещи, подобные "Саломее", "Флорентийской трагедии" и "La Sainte Courtisane" ["Святая блудница" (фр.)], я был вынужден посылать твоему отцу длинные юридические письма и искать помощи в том, против чего я всегда восставал. Клиббори и Аткинс вели себя потрясающе в своей постыдной схватке с жизнью. Встречи с ними были поразительными приключениями. На моем месте Дюма-отец, Челлини, Гойя, Эдгар Аллан По и Бодлер поступили бы точно так же. А вот что я не могу вспомнить без отвращения - это наши с тобой нескончаемые визиты к поверенному Хэмфрису, когда мы сидели в бьющем в глаза свете этой ледяной комнаты с серьезными лицами и всерьез лгали этому лысому человеку, пока я не начинал буквально стонать и зевать от тоски и отвращения. Так вот где я оказался после двух лет дружбы с тобой в самой середине Страны Фарисеев, вдалеке от всего прекрасного, блестящего, чудесного и дерзкого, смелого. И в конце концов мне пришлось ради тебя выступить борцом за Респектабельность в поведении. Пуританство в жизни и Мораль в Искусстве. *Voilà ou menent les mauvais chemins!* [Вот куда приводят дороги зла! (фр.)]

И вот что меня удивляет - ты как будто стараешься подражать своему отцу, проявляя те же черты характера. Я никак не могу понять, почему он стал для тебя образцом, когда должен был стать предостережением, впрочем, когда двое ненавидят друг друга, их словно связывает какой-то союз, некое братство. Мне думается, что по какому-то странному закону антипатии по сходству вы ненавидели друг друга не за то, что вы так несхожи во многих чертах, а за то, что в некоторых чертах вы так похожи друг на друга. Когда ты ушел из Оксфорда в июне 1893 года, не получив диплома и наделав долгов - долгов пустяковых, но ощутимых для состояния твоего отца, он написал тебе крайне вульгарное, грубое и оскорбительное письмо. Письмо, которым ты ему ответил, было еще хуже во всех отношениях и куда меньше заслуживало оправдания, и именно поэтому ты им ужасно гордился. Я очень хорошо помню, с каким самодовольным видом ты заявил мне, что можешь перещеголять своего отца в его "делах". Бесспорно. Но что это за дела! Что это за соперничество! Ты часто осыпал насмешками и вышучивал своего отца за то, что он уехал из дома твоего кузена и не стал там жить только ради того, чтобы посылать ему из соседнего отеля грязные и оскорбительные письма. Но сам ты всегда поступал со мной точно так же. Ты неизменно завтракал со мной в каком-нибудь ресторане, дулся или устраивал мне сцену во время ленча, а потом уходил в Уайт-клуб и писал мне письмо самого гнусного содержания. В одном только ты отличался от своего отца отослав мне письмо с нарочным, ты несколько часов спустя являлся ко мне на квартиру - не с извиненьями, а только для того, чтобы справиться, заказал ли я обед в "Савое", а если нет, то по какой причине. Случалось, что ты являлся даже раньше, чем я успевал прочесть твое оскорбительное послание. Помню, как-то раз ты попросил меня пригласить к ленчу в "Кафе-Рояль" двух твоих друзей, один из которых был мне совершенно незнаком. Я пригласил их и по твоему настоянию заранее заказал особенно роскошный ленч. Я помню, что был вызван chef и ему были даны особые указания насчет вин. Но к ленчу ты не явился, а прислал злобное письмо прямо в Кафе с таким расчетом, чтобы его принесли, когда мы уже прождали тебя целых полчаса. Я пробежал глазами первую строчку, понял, в чем дело, и, положив письмо в карман, объяснил твоим друзьям, что ты внезапно занемог, и дальше в письме говорится о симптомах твоего

недомогания. Признаться, я прочел это письмо только вечером, когда переодевался к обеду на Тайт-стрит. Как раз когда я пробирался сквозь всю эту грязь, с бесконечной грустью спрашивая себя, как ты можешь писать письма, которые можно сравнить только с пеной на губах эпилептика, слуга доложил мне, что ты ждешь в холле и хочешь во что бы то ни стало увидаться со мной хотя бы на пять минут. Я послал просить тебя подняться ко мне. Ты вошел - лицо у тебя было действительно бледное и перепуганное - и стал умолять меня о помощи и просить совета, потому что ты узнал, что поверенный из Лэмли разыскивал тебя в доме на Кэдоган-сквер, и боялся, что тебе угрожают старые оксфордские неприятности или какая-нибудь новая опасность. Я тебя успокоил, убедил, что это, должно быть, всего-навсего счет от какого-нибудь торговца - так оно и оказалось, - я оставил тебя обедать и позволил тебе провести со мной весь вечер. Ты ни словом не обмолвился о своем чудовищном письме; я тоже промолчал. Я отнесся к нему просто как к несчастной вспышке несчастного характера. Мы никогда больше не затрагивали эту тему. Для тебя не было ничего необычного в том, чтобы, отправив мне оскорбительное письмо в 2:30, примчаться ко мне за помощью в тот же день в 7:15. Это вошло у тебя в привычку. В этом отношении, как и во многих других, ты оставил далеко позади своего отца. Когда в суде читали вслух его отвратительные письма к тебе, ему, естественно, стало стыдно, и он лил крокодиловы слезы. Но если бы его адвокат прочитал твои письма к нему, все почувствовали бы еще больший ужас и отвращение. Ты не только перещеголял его в его "делах" в области стилия, но и далеко превзошел в приемах нападения. Ты использовал телеграммы с открытым текстом и почтовые открытки. Я считаю, что подобные способы досаждают людям ты мог бы оставить таким типам, как Альфред Вуд, - для них это единственный источник заработка. Ты не согласен? То, что для него и ему подобных было профессией, тебе доставляло радость, злобную радость. Ты не бросил свою отвратительную привычку писать оскорбительные письма и после того, что случилось со мной из-за них и благодаря им. Ты до сих пор видишь в этом одно из своих достижений и продолжаешь упражнять свои таланты в отношении моих друзей, тех, кто скрасил мою тюремную жизнь своей добротой, как Роберт Шерарду и другие. Это позорно. Ты должен быть благодарен Роберту Шерарду за то, что он, узнав от меня, что я не хочу, чтобы ты публиковал в "Меркюр де Франс" какую бы то ни было статью, с письмами или без них, довел это до твоего сведения и помешал тебе причинить мне - быть может, невольно - новую боль, вдобавок к той, что ты мне уже причинил. Ты должен помнить, что в английской газете можно опубликовать покровительственное, обывательское письмо о "честной игре" с "человеком, который пал". Оно будет лишь продолжением старинных традиций английской прессы, ее привычного отношения к художникам. Но во Франции такой тон вызовет насмешки надо мной и презрение к тебе. Я не мог допустить публикации статьи, пока не узнал, какова ее цель, настроение, подход к вещам и тому подобное. В искусстве благие намерения ничего не стоят. Все дурное в искусстве - следствие благих намерений.

Ты писал желчные и обидные письма не только Роберту Шерарду, но и всем моим друзьям, которые считали нужным принимать во внимание мои чувства и пожелания во всем, что касается меня лично: в публикации статей обо мне, в огласке моих писем и подарков и так далее. Ты оскорблял или пытался оскорбить очень многих.

Подумал ли ты когда-нибудь о том, в каком ужасном положении я оказался бы, если бы последние два года, отбывая тяжкое наказание, я зависел бы от твоей дружбы? Думал ли ты об этом? Почувствовал ли ты хоть раз благодарность к тем, кто облегчил мое тяжкое бремя своей безграничной добротой, беззаветной преданностью, радостной и бодрой щедростью, кто посещал меня все время, писал мне прекрасные, полные сочувствия письма, занимался моими делами, устраивал мою будущую жизнь, не покидал меня среди всех поношений, злословия, неприкрытых издевательств и прямых оскорблений? Я благодарю Господа каждый день за то, что он дал мне друзей, несхожих с тобой. Им я обязан всем. Все книги, какие только есть в моей камере, оплатил из своих карманных денег Робби. Когда меня выпустят, платье для меня будет куплено на те же средства. Мне не стыдно принимать то,

что дается любовью и преданностью. Я этим горжусь. Но задумался ли ты хоть раз над тем, чем были для меня мои друзья - Мор Эди, Робби, Роберт Шерард, Фрэнк Гаррис и Артур Клифтон, какое утешенье, помощь, преданность и сочувствие принесли они мне? Мне кажется, что ты об этом и не подозреваешь. И все же, имей ты хоть каплю воображения, ты бы понял, что нет ни единого человека среди тех, кто сделал мне добро в моей тюремной жизни - начиная от тюремщика, который желает мне доброго утра или спокойной ночи, хотя это не входит в его обязанности, - до простых полисменов, которые старались бесхитростно и грубовато по мере сил утешать меня, когда меня таскали в суд по делам несостоятельных должников и обратно, и я был вне себя от душевных мук, - и вплоть до последнего жалкого воришки, который, узнав меня, когда мы брели по кругу во дворе Уондсвортской тюрьмы, прошептал мне глухим голосом, охрипшим от долгого вынужденного молчания: "Жалко мне вас - таким, как вы, потруднее, чем нам", - повторяю, ты должен был бы гордиться, если бы любой из этих людей разрешил тебе стать на колени перед ним и стереть грязь с его башмаков.

Хватит ли у тебя воображения, чтобы понять, какой ужасной трагедией обернулась для меня встреча с твоим семейством? Какая бы это была трагедия для любого, у кого есть что терять - высокое положение, громкое имя или вообще что-нибудь ценное? Едва ли найдется хоть кто-нибудь в твоей семье исключая Перси, он славный человек, - кто так или иначе не содействовал бы моей гибели.

Я не без горечи говорил тебе о твоей матери, и я всерьез советую тебе показать ей это письмо - главным образом для твоей же собственной пользы. И если ей будет больно читать подобные обвинения против одного из своих сыновей, пусть вспомнит, что моя мать, равная по своему интеллекту Элизабет Баррет Браунинг, а по историческому значению - мадам Ролан, умерла от горя, потому что ее сын, чьим гением и творчеством она так гордилась, кого считала достойным носителем славного имени, был приговорен к двум годам принудительных работ. Ты спросишь, чем твоя мать содействовала моей гибели. Я скажу тебе. Точно так же, как ты старался свалить на мои плечи всю свою безнравственную ответственность, она старалась валить на меня всю свою нравственную ответственность за тебя. Вместо того чтобы обсудить твою жизнь с тобой лично, она всегда писала мне украдкой, со страхом заклиная меня не выдавать ее. Ты видишь, в каком положении я оказался между тобой и твоей матерью. Два раза - в августе 1892 года и 8 ноября того же года - я имел долгие беседы с ней о тебе. Оба раза я спрашивал ее, почему она не хочет поговорить прямо с тобой. И оба раза она мне отвечала: "Я боюсь: он так сердится, когда с ним заговариваешь". В первый раз я так мало знал тебя, что не понял, о чем она говорит. Во второй раз я знал тебя так хорошо, что прекрасно понял ее. (Между этими двумя встречами у тебя был приступ желтухи, доктор послал тебя на неделю в Борнемут, и ты уговорил меня поехать с тобой, потому что не выносил одиночества.) Но самый первый долг матери - не бояться серьезно говорить со своим сыном. Было бы гораздо лучше, если бы она серьезно поговорила с тобой о тех неприятностях, которые у тебя были в июле 1892 года, если бы она заставила тебя во всем ей признаться, в конце концов это было бы лучше для вас обоих. Она совершила ошибку, тайком, за твоей спиной вступив в переписку со мной. Какую пользу принесли бесчисленные записочки, которые твоя мать посылала мне в конвертах с надписью "лично", умоляя меня не приглашать тебя так часто к обеду и не давать тебе денег и каждый раз прибавляя: "Ни в коем случае не говорите Альфреду, что я вам писала"? Что хорошего могло выйти из этой переписки? Разве ты когда-нибудь ждал, чтобы тебя пригласили к обеду? Никогда. Ты считал себя в полном праве обедать, завтракать и ужинать вместе со мной. Если я протестовал, у тебя всегда было одно возражение: "Но с кем же мне еще обедать, если не с вами? Вы же не думаете, что я стану обедать дома?" Что тут было отвечать? А когда я наотрез отказывался приглашать тебя обедать, ты каждый раз угрожал мне какой-нибудь глупой выходкой и всегда исполнял угрозу. Что же могли принести те письма, которыми меня засыпала твоя мать, кроме того, к чему они и привели - вся моральная ответственность была неразумно и губительно переложена на мои плечи. Я не хочу больше перечислять те проявления ее слабости и боязни, которые принесли столько горя ей самой, тебе и мне, но, узнав, что твой отец явился ко мне в

дом и устроил отвратительную сцену, перешедшую в серьезный скандал, неужели она не могла догадаться, что назревает серьезный кризис, и предпринять какие-то серьезные шаги, чтобы избежать его? Но единственное, что ей пришло в голову - это послать ко мне сладкоречивого лицемера Джорджа Уиндхема, чтобы он уговорил меня - на что же? "Постепенно отдалиться от тебя!"

Можно подумать, что мне удалось бы постепенно от тебя отдалиться! Я все перепробовал, чтобы так или иначе покончить с нашей дружбой, - я дошел до того, что уехал из Англии за границу и оставил неверный адрес, в надежде одним ударом разорвать те узы, которые стали для меня докучными, нестерпимыми и разорительными. Неужели ты думаешь, что я мог "постепенно отдалиться от тебя"? Неужели ты думаешь, что твой отец на этом бы успокоился? Ты знаешь, что это не так. Не прекращенья нашей дружбы, а публичного скандала - вот чего добивался твой отец. Именно к этому он стремился. Его имя годами не появлялось в газетах. Он увидел, что открывается возможность появиться перед британской публикой в совершенно новом обличье - в образе любящего отца. Это подхлестнуло его страсть. Если бы я порвал нашу дружбу, для него это было бы ужасным разочарованием, и едва ли он смог бы утешиться той глухой славой, которую ему принес второй бракоразводный процесс. Нет, он искал популярности, и выступить поборником чистоты, как это называется, при современных настроениях британской публики - самый верный способ стать героем на час. Про эту публику я говорил в одной из своих пьес, что если полгода она пребывает Калибаном, то на остальные полгода становится Тартюфом, и твой отец, в котором воистину воплотились оба характера, был самой судьбой предназначен стать достойным представителем Пуританства в его самом агрессивном и характерном виде. И никакое постепенное отдаление от тебя ничего бы не дало, даже если бы и было осуществимо. Разве ты не понял, что единственное, что должна была сделать твоя мать - это позвать меня и в присутствии твоего брата категорически заявить, что нашей дружбе нужно во что бы то ни стало положить конец? Во мне она нашла бы самую горячую поддержку, а при мне и в присутствии Драмланрига она могла бы говорить с тобой без страха. Но она не пошла на это. Она страшилась своей ответственности и попыталась переложить ее на меня. Одно письмо она мне все же написала. Оно было очень короткое: она просила меня не посылать к отцу письмо адвоката, в котором содержалось предостережение ему, в случае если он не отступится. И она была совершенно права. Мне советоваться с адвокатами и просить их защиты было нелепо. Но всю пользу, которую могло бы принести ее письмо, она уничтожила обычной припиской: "Ни в коем случае не говорите Альфреду, что я вам писала!" Одна мысль, что я пошлю письма своего поверенного твоему отцу и тебе, приводила тебя в восторг. Это была твоя идея. Я не мог сказать тебе, что твоя мать не одобряет эту выдумку, потому что она связала меня самыми торжественными обещаниями никогда не упоминать о ее письмах ко мне, и я, как это ни глупо, сдержал свое обещание. Разве ты не понимаешь, как она была неправа, отказываясь от личного разговора с тобой? Что все эти переговоры со мной за твоей спиной, записочки, переданные с черного хода, - все это было ошибкой. Никто не может переложить свою ответственность на другого. Все равно она неизбежно возвращается к своему прежнему хозяину. У тебя было одно-единственное представление о жизни, одна философская идея - если предположить, что ты способен философствовать: за все, что бы ты ни делал, расплачиваться должны другие; я говорю не о деньгах - это было просто практическое применение твоей философии к обыденной жизни, - в более широком и глубоком смысле это означает желание переложить всю ответственность на других. Ты превратил это в свое кредо. Это было тебе очень выгодно. Ты заставил меня действовать, зная, что твой отец не захочет подвергать какой-либо опасности твою жизнь или тебя самого, я же готов до последнего вздоха защищать и тебя, и твою жизнь, и приму на свои плечи все, что придется. Ты был абсолютно прав. И твой отец, и я - мы оба, разумеется, по совершенно разным причинам, вели себя именно так, как ты рассчитывал. И все-таки, несмотря ни на что, тебе не удалось выйти сухим из воды. "Теория отрока Самуила" - назовем ее так для краткости - не так уж плоха для широкой публики. В Лондоне к ней могут отнестись с презрением, а в Оксфорде встретить

кривой усмешкой, но только потому, что и там и тут есть люди, которые тебя хорошо знают, и потому, что везде ты оставил следы своего пребывания. Но весь мир вне узкого круга, за пределами этих двух городов, видит в тебе славного молодого человека, который едва не вступил на дурной путь - по наущению испорченного и безнравственного писателя, но был в последнюю минуту спасен добрым и любящим родителем. Звучит вполне убедительно. И все же ты сам знаешь, что уйти тебе не удалось. Я говорю не о том глупейшем вопросе, заданном дураком-присяжным, на который ни прокурор, ни судья не обратили никакого внимания. До этого никому не было дела. Быть может, то, что я говорю, касается главным образом самого тебя. Когда-нибудь тебе все же придется задуматься над своим поведением, и ты не сможешь оправдаться в собственных глазах, не посмеешь одобрить то, что произошло. Втайне ты должен глубоко стыдиться самого себя. Обращать к миру невозмутимый лик бесстыдства - это великолепно, но хотя бы время от времени, наедине с собой, без зрителей, тебе, я думаю, приходится срывать эту личину - просто для того, чтобы можно было дышать. А то ведь недолго и задохнуться.

Так и твоя мать, должно быть, порой сожалеет о том, что попыталась переложить свою серьезнейшую ответственность на другого человека, который и без того нес нелегкое бремя. Она была для тебя не только матерью, она заменяла тебе и отца. Но исполнила ли она истинный родительский долг? Если я терпел твой дурной нрав, твою грубость, твои скандалы, то она тоже могла бы с этим примириться. Когда я в последний раз виделся с женой - с тех пор прошло уже четырнадцать месяцев, - я сказал, что теперь ей придется быть не только матерью, но и отцом нашему Сирилу. Я рассказал ей о том, как твоя мать относилась к тебе, подробнейшим образом - так же как и в этом письме, но, конечно, гораздо откровеннее. Я рассказал ей всю подоплеку бесконечных писем с надписью "лично" на конверте, которые твоя мать присылала на Тайт-стрит так часто, что жена моя всегда смеялась и шутила, что мы, видно, пишем вместе светскую хронику или что-нибудь в этом роде. Я умолял ее не относиться к Сирилу так, как твоя мать относилась к тебе. Я говорил ей, что она должна воспитать его так, чтобы, если ему случится пролить кровь невинного, он пришел бы и признался ей, и она сначала омыла бы его руки, а потом научила бы, как очистить и душу путем раскаяния или искупления. Я сказал ей, что, если она боится принять на себя всю ответственность за жизнь другого человека, даже если это ее собственное дитя, пусть возьмет себе в помощь опекуна. Она так и сделала, к моей великой радости. Она выбрала Андриана Хоупа - человека старинного рода, высокой культуры и прекрасной репутации, он приходится ей кузеном; ты видел его один раз на Тайт-стрит: с ним Сирила и Вивиана ожидает, я верю, прекрасное будущее. И твоя мать, раз уж она боялась серьезно поговорить с тобой, должна была бы выбрать среди твоих родственников кого-нибудь, кого ты мог бы послушаться. Но она не должна была бояться. Ей следовало бы смело высказать тебе все начистоту. Теперь посмотри сам, что вышло. Разве она теперь рада и спокойна?

Знаю, что она во всем винит меня. Я слышу об этом не от тех, кто знаком с тобой, но от людей, которые тебя не знают и знать не желают. Я часто слышу об этом. К примеру, она говорит о влиянии старшего на младшего. Такую позицию она постоянно занимает, когда затрагивают этот вопрос, и встречает сочувствие, опираясь на всеобщее предубеждение и неосведомленность. Стоит ли мне спрашивать тебя, какое я имел на тебя влияние? Ты сам знаешь, что никакого. Ты часто хвалился этим - воистину, это единственное, чем ты мог хвалиться по праву. Собственно говоря, было ли в тебе что-нибудь, на что я мог влиять? Твой ум? Он был недоразвит. Твое воображение? Оно было мертво. Твое сердце? Оно еще не родилось. Среди всех людей, чьи пути пересекались с моей жизнью, ты был единственным - да, единственным, - на кого я не мог оказать никакого влияния - ни хорошего, ни дурного. Когда я лежал больной, беспомощный, в лихорадке, которую получил, ухаживая за тобой, моего влияния на тебя не хватило даже для того, чтобы ты дал мне хоть стакан молока, или проследил, чтобы у меня было все, необходимое больному, или затруднил себя, чтобы проехать до ближайшей книжной лавки и купить мне книгу за мои же деньги. Даже тогда, когда я сидел и писал, набрасывая

комедии, которым было суждено превзойти блеском Конгрива, глубиной философии - Дюма-сына и, на мой взгляд, всех остальных вместе взятых - во всех иных отношениях, - я не мог оказать на тебя достаточного влияния, чтобы ты оставил меня в покое, а покой совершенно необходим всякому художнику. Где бы я ни устраивал свой рабочий кабинет, ты превращал его в обычную гостиную, где можно курить, попивать рейнвейн с зельтерской и болтать всякую чепуху. "Влияние старшего на младшего" - прекрасная теория, пока она не доходит до моего слуха. Тогда она превращается в нелепицу. А когда она доходит до твоего слуха, ты, наверное, улыбаешься - про себя. Ты безусловно имеешь на это право. Я узнаю и многое из того, что твоя мать говорит о деньгах. Она утверждает и совершенно справедливо, - что неустанно заклинала меня не давать тебе денег. Я подтверждаю это. Писала она ко мне неустанно, и в каждом из бесчисленных писем был постскриптим: "Умоляю, не говорите Альфреду, что я вам писала". Но мне-то не доставляло никакого удовольствия оплачивать все твои расходы, от утреннего бритья до кэба в полночь. Мне это безумно надоедало. Я не раз говорил тебе об этом. Я часто говорил - ты помнишь, не так ли? - что мне претит твое отношение ко мне, как к "нужному" человеку, который "может быть полезным", что ни один художник не хотел бы, чтобы с ним так обращались: художники, как и само Искусство, по своей природе совершенно бесполезны. Ты страшно злился, когда я говорил тебе об этом. Правда всегда раздражала тебя Правду и в самом деле мучительнее всего выслушивать и мучительнее всего высказывать. Но она не повлияла ни на твой образ жизни, ни на твои взгляды. Каждый день я должен был платить за все, что бы ты ни делал в течение этого дня. Только человек невыносимо добрый или неопределимо безрассудный мог пойти на это. К несчастью, во мне эти качества слились воедино. Когда мне случалось упоминать о том, что твоей матери следовало бы снабжать тебя деньгами на расходы, у тебя всегда был готов прелестный и изящный ответ. Ты говорил, что содержание, которое ей выделяет твой отец, - кажется, что-то около 1500 фунтов в год, совершенно недостаточно для леди такого ранга и что ты не можешь просить у нее еще денег вдобавок к тем, которые она тебе дает. Ты был совершенно прав - ее доход никак не соответствовал ни ее положению, ни ее привычкам, но ты не должен был под этим предлогом вести роскошную жизнь на мой счет: напротив, тебе следовало, зная об этом, жить самому гораздо скромнее. Все дело в том, что ты был - и, полагаю, остался - типичным сентиментальным человеком. Ибо сентиментальный человек - это тот, кто хочет позволить себе роскошь чувствовать, не платя за это. Мысль поберечь кошелек твоей матери была прекрасна. Перекидывать все расходы на меня было отвратительно. Ты полагаешь, что можно жить чувствами бесплатно. Нет, нельзя. Даже за самые благородные, за самые самоотверженные чувства приходится расплачиваться. И, как ни странно, именно это и придает им благородство. На интеллектуальную и эмоциональную жизнь заурядных людей нельзя смотреть без презрения. Подобно тому как они берут свои мысли напрокат в некоей разъездной библиотечке идей - у Zeitgeist [дух времени (нем.)] нашего века, лишенного души, - и в конце каждой недели возвращают их захватанными и растрепанными, они всегда стараются брать свои чувства в кредит и не желают платить, когда им присылают счет. Тебе пора расстаться с такими взглядами на жизнь. Когда тебе придется расплачиваться за чувство, ты узнаешь ему цену - и только выиграешь от этого. И помни, что сентиментальный человек всегда в глубине души - циник. Ведь сентиментальность - всего лишь праздничная прогулка цинизма. И какой бы заманчивой ни казалась интеллектуальная сторона цинизма, теперь, когда он переселился из Бочки в Клуб, он стал всего лишь самой удобной философией для человека, лишенного души. У цинизма есть некоторая общественная ценность, а художнику интересны все оттенки самовыражения, но сам по себе он мало чего стоит, потому что истинному цинику неведомы откровения.

Мне кажется, что теперь, если ты вспомнишь о деньгах своей матери и своем отношении к моим деньгам, тебе нечем будет гордиться, и, может быть, когда-нибудь, если ты и не покажешь матери это письмо, ты все же объяснишь ей, что жил на мой счет, нисколько не считаясь с моими желаниями. В такую причудливую, и для меня лично невыразимо стеснительную, форму вылилась твоя любовь ко

мне. То, что ты полностью зависел от меня во всех самых больших и самых мелких расходах, придавало тебе в собственных твоих глазах все очарование детства, и ты полагал, что, заставляя меня платить за все твои удовольствия, ты открыл секрет вечной юности. Признаюсь, мне очень больно слышать, что говорит обо мне твоя мать, и я уверен, что, поразмыслив, ты согласишься со мной, что если уж у нее не находится ни слов сожаления или соболезнования о том разорении, которое ваша семья навлекла на мою семью, то лучше бы ей было просто промолчать. Разумеется, нет никакой необходимости показывать ей те места моего письма, где я говорю о своем духовном развитии или о тех отправных пунктах, которых я надеюсь достигнуть. Это ей будет неинтересно. Но то, что касается только твоей жизни, я показал бы ей, будь я на твоём месте.

И будь я на твоём месте, я бы не хотел, чтобы меня любили не за то, что я есть. Человеку ни к чему обнажать свою жизнь перед миром. Мир ничего не понимает. Но люди, чья любовь тебе дорога, - это другое дело. Мой большой друг - нашей дружбе уже десять лет - недавно посетил меня здесь и сказал, что не верит ни единому слову, сказанному против меня, и хочет, чтобы я знал, что в его глазах я ни в чем не повинен - я просто жертва чудовищного заговора, сфабрикованного твоим отцом. Услышав это, я залился слезами и ответил ему, что, несмотря на то что в недвусмысленных обвинениях твоего отца было много лжи, много приписанного мне отвратительным злопыхательством, но все же моя жизнь была полна извращенных наслаждений и странных страстей, и если он не сможет взглянуть в лицо фактам и полностью осознать их, дружба с ним для меня будет уже невозможна и встречаться с ним я не смогу. Для него это был ужасный удар, но мы остались друзьями, и я не пытался завоевать эту дружбу притворством и лицемерием. Я сказал тебе, что высказывать правду - мучительно. Обречь себя на вынужденную ложь - много хуже.

Вспоминаю, как я, сидя на скамье подсудимых во время последнего заседания суда, слушал ужасные обвинения, которые бросал мне Локвуд - в этом было нечто тацитовское, это было похоже на строки из Данте, на обличительную речь Савонаролы против папства в Риме, - и услышанное повергало меня в болезненный ужас. Но вдруг мне пришло в голову: "Как это было бы прекрасно, если бы я сам говорил это о себе!" Я внезапно понял, совершенно несущественно, что говорят о человеке. Важно одно - кто это говорит. Я нисколько не сомневаюсь, что высочайший момент в жизни человека - когда он падает на колени во прах и бьет себя в грудь, и исповедуется во всех грехах своих. Это относится и к тебе. Ты был бы гораздо счастливее, если бы сам рассказал своей матери хоть бы кое-что о своей жизни. Я довольно много рассказал ей в декабре 1893 года, но, само собой разумеется, мне приходилось ограничиваться общими местами и о многом умалчивать. И это никак не придало ей смелости в отношениях с тобой. Наоборот. Она отворачивалась от правды еще более упорно, чем раньше. Если бы ты все рассказал ей сам, все обернулось бы иначе. Быть может, мои слова часто кажутся тебе слишком резкими. Но от фактов ты не можешь отпереться. Все обстояло именно так, как я говорил, и если ты прочел это письмо с подобающим вниманием, ты встретился с самим собой лицом к лицу.

Я написал тебе так много и подробно, чтобы ты понял, чем ты был для меня до моего заточения, все три года, пока тянулась эта роковая дружба; чем ты был для меня во время моего заточения, срок которого уже истекает почти через два месяца; и каким я надеюсь стать по отношению к другим и к самому себе, когда выйду на волю. Я не могу ни переделывать, ни переписывать это письмо. Прими его таким, как есть, со следами слез на многих страницах, со следами страсти или боли - на других, и постарайся понять его как можно лучше - со всеми кляксами, поправками и прочим. Все поправки и перечеркивания я позволил себе для того, чтобы выразить свои мысли в словах, которые бы абсолютно им соответствовали и не грешили бы ни чрезмерностью, ни невнятицей. Слово нужно настраивать, как скрипку: и подобно тому как излишек или недостаток вибраций в голосе певца или в дрожании струны дают фальшивую ноту, чрезмерность или недостаток в словах мешают выразить мысль. Но как бы то

ни было, мое письмо, во всяком случае, в каждой отдельной фразе выражает определенную мысль. В нем нет никакой риторики. И если я перечеркиваю или исправляю слова - как бы незначительны и придерчивы ни были эти поправки, - то лишь потому, что стараюсь передать свое истинное впечатление, найти точный эквивалент своему настроению.

Да, я знаю, что это суровое письмо. Я тебя не пощадил. И ты по праву можешь утверждать, что я сначала признал несправедливостью по отношению к тебе всякую попытку взвесить тебя на одних весах с самой малой из моих горестей, с самой ничтожной из моих потерь, а потом все-таки проделал это, разобрав твой характер по косточкам. Это правда Только помни, что ты сам положил себя на чашу весов.

Ты должен помнить, что если попытаться уравновесить твою чашу с одним малым мгновением моего заточения, она взлетит вверх, как перышко. Тщеславие вынудило тебя избрать свою чашу, и Тщеславие заставляет тебя цепляться за нее. Нашей дружбе свойственна одна глубочайшая психологическая ошибка - полное отсутствие пропорциональности. Ты ворвался в жизнь, которая была для тебя слишком велика, в жизнь, чья орбита выходила далеко за пределы твоего поля зрения и захватывала пространства, для тебя недосыгаемые, в жизнь человека, чьи мысли, страсти и поступки были необычайно значительны, необыкновенно интересны, и их сопровождали точнее, отягощали - чудесные или чудовищные последствия. Твоя маленькая жизнь с мелкими прихотями и пристрастиями была прекрасна в своем крохотном кругу. Она вызвала восхищение в Оксфорде, где самое худшее, что могло тебя постигнуть, - это выговор от Декана или наставление Президента, а самой волнующей сенсацией было то, что колледж св.Магдалины выиграл гребную регату и устроил фейерверк во дворе в честь этого великого события. Твоя жизнь должна была протекать в своей привычной среде и после того, как ты ушел из Оксфорда. Сам по себе ты не заслуживал осуждения. Ты представлял собой законченный образчик вполне современного молодого человека. И только твое отношение ко мне заслуживает осуждения. Твоя безрассудная расточительность - не преступление. Юность всегда расточительна. Но заставлять меня оплачивать твои излишества - вот что было позорно. Твое желание иметь друга, с которым ты был бы неразлучен с утра до поздней ночи, вызывало умиление. Оно было почти идиллическим. Но ты не должен был выбирать себе в друзья литератора, художника, человека, прекрасные творения которого ты разбивал вдребезги, а творческие способности буквально парализовал своим постоянным присутствием. Ничего плохого не было в том, что ты вполне серьезно полагал, что лучше всего провести вечер, начав с обеда с шампанским в "Савое", затем взять ложу в мюзик-холле и закончить ужином с шампанским у Виллиса - на закуску. Толпы очаровательных молодых людей в Лондоне разделяют твое мнение. Оно даже не отдает эксцентричностью. Это одно из качеств, необходимых для члена Уайт-клуба. Но ты не имел права требовать, чтобы я служил поставщиком подобных развлечений. В этом проявилось твое полнейшее неуважение к моему гению. А твоя ссора с отцом независимо от того, как она выглядела со стороны, - эта ссора должна была остаться вопросом, который вы разрешили бы между собой. Она должна была происходить вдали от посторонних глаз. Подобные сцены обычно, насколько мне известно, происходят на заднем дворе. Твоя ошибка заключалась в том, что ты непременно хотел разыграть ее на высоких подмостках Истории, на потеху всему миру, а мне полагалось стать наградой победителю в этом недостойном состязании. То, что твой отец не выносил тебя, а ты терпеть не мог своего отца, нимало не интересовало английскую публику. Подобные чувства сплошь да рядом встречаются в семейной жизни англичан, и им положено пребывать в пределах того места, для которого они характерны - частного дома. Вне семейного круга они совершенно неуместны. Выносить их оттуда - преступление. Семейная жизнь не должна уподобляться ни флагу, которым размахивают на улицах, ни рогу, в который хрипло трубят на крышах. Ты вынес семейные дела из подобающей им среды, точно так же, как сам вышел за пределы подобающей тебе среды. Но те, кто покидает привычную среду, меняют лишь свое окружение, а не свои природные склонности. Они не приобретают мыслей или страстей,

свойственной среде, в которую они вступают. Они не в силах этого сделать. Силы эмоциональные, как я говорил где-то в "Замыслах", имеют такой же предел длительности и напряженности, как и физическая энергия. Маленькая рюмка, которой предназначено вмещать свою меру, вмещает свою меру - и ни капель больше, хотя бы все пурпурные бочки Бургундии до краев наполнились вином, а виноградаря по колено утопали в гроздьях, собранных с каменистых виноградников Испании. Самая обычная ошибка - думать, что те, кто стал причиной или поводом к великой трагедии, разделяют и высокие чувства, подобающие трагическому строю, и самая роковая ошибка - ждать от них этого. Быть может, мученик в своем "плаще из пламени" и узрит лицо Бога, но для того, кто подбрасывает хворост или шевелит поленья, чтобы огонь разгорелся, - все это так же привычно, как мяснику - свалить быка, угольщику - срубить дерево, а тому, кто выкашивает траву, - подкосить цветок. Великие страсти доступны только великим душам, а великие события видны только тем, кто поднялся до их уровня.

Во всем драматическом жанре я не знаю ничего столь несравненного с точки зрения Искусства, ничего более вдохновляющего тончайшей наблюдательностью, чем шекспировское изображение Розенкранца и Гильденстерна. Это университетские товарищи Гамлета. Они были его друзьями. Они принесли с собой воспоминания о проведенных вместе счастливых днях. В пьесе они встречаются с ним в ту минуту, когда он едва не падает под тяжестью ноши, непосильной для человека с таким складом характера. Мертвец в полном вооружении поднялся из могилы и заставил его взять на себя дело, которое и слишком велико, и слишком низменно для него. Он - мечтатель, а его призывают к действию. Он - поэт от природы, а от него требуют, чтобы он вступил в бой с пошлыми хитросплетениями причин и следствий, с той житейской практикой, о которой он не знает ничего, а не с той идеальной сущностью жизни, о которой он знает так много. Он не знает, что ему делать, и его безумие в том, что он притворяется безумным. Брут скрывал под плащом безумия меч своей целеустремленности, кинжал своей воли, но для Гамлета безумие - всего лишь маска, скрывающая бессилие. В кривлянье и остротах он находит предлог для промедленья. Он все время играет с действием, как художник играет с теориями. Он сам начинает шпионить за собственными действиями и, прислушиваясь к собственным речам, понимает, что это всего лишь "слова, слова, слова". Вместо того чтобы попытаться сделаться героем своей собственной истории, он пытается стать зрителем своей собственной трагедии. Он не верит никому и ничему, в том числе - и самому себе, но его неверье не приходит ему на помощь, ибо оно порождено не скептицизмом, а раздвоением личности.

Розенкранц и Гильденстерн обо всем этом и не догадываются. Они лебезят и расточают улыбки, и каждый, как эхо, вторит словам другого с еще более тошнотворной назойливостью. И когда наконец Гамлету удастся при помощи своей пьесы в пьесе и шутовства марионеток "поймать в мышеловку" совесть короля и он заставляет несчастного в ужасе бежать, покинув трон, Гильденстерн и Розенкранц видят в поведении Гамлета всего-навсего довольно ощутительное нарушение придворного этикета. Дальше этого они не могут продвинуться в "созерцании зрелища жизни с подобающими чувствами". Они близки к разгадке его тайны и не знают о ней ничего. И говорить им об этом было бы бесполезно. Они всего лишь маленькие рюмочки - вмещающие свою меру, и ни капли больше. Ближе к финалу нам дают понять, что, попавшись в силки, расставленные для другого, они умирают - или должны умереть внезапной и насильственной смертью. Но, хотя гамлетовский юмор и сдобрил его оттенком неожиданности и справедливости, не суждено им и таким, как они, встретить такой трагический конец. Они никогда не умирают. Горацио, сдавшись на уговоры Гамлета: "...Нет, если ты мне друг, то ты на время поступишься блаженством. Подыши еще трудами мира и поведай про жизнь мою" [пер. - Б.Пастернак], - умирает, хотя и не на глазах у публики, не оставив на земле брата. Но Гильденстерн и Розенкранц так же бессмертны, как Анджело и Тартюф, и составят им достойную компанию. Они олицетворяют то, что современная жизнь привнесла в античный идеал дружбы. Тот, кто напишет трактат *De Amicitia* ["О дружбе" (лат.)], должен найти им место и воспеть их в тускуланской прозе. Они - тип, существующий неизменно во все времена. Осуждать их - значит обнаруживать недостаток

понимания. Они просто оказались вне своей среды: вот и все. Величие души не прилипчиво. Возвышенные мысли и высокие чувства осуждены на одиночество по самой своей природе. То, что было непостижимо даже для Офелии, не в силах понять ни "Гильденстерн и милый Розенкранц", ни "Розенкранц и милый Гильденстерн". Разумеется, я не собираюсь тебя с ними сравнивать. Между вами огромная разница. То, что они делали поневоле, ты делал по доброй воле. Без всякого повода с моей стороны ты сознательно ворвался в мою сферу, узурпировал в ней место, на которое не имел права и которого не заслуживал; с поразительной настойчивостью, не пропуская ни единого дня, ты навязывал мне свое присутствие, наконец тебе удалось заполнить всю мою жизнь, и ты не нашел ничего лучшего, как разбить ее вдребезги. Ты удивишься моим словам - но ведь с твоей стороны это было совершенно естественно. Когда ребенку дают игрушку, столь чудесную, что его крохотный ум не в силах постичь ее, или настолько прекрасную, что его полусонный дремотный взгляд не видит ее красоты, - своенравный ребенок ломает ее, а равнодушный роняет на пол и бежит играть с другими детьми. Ты вел себя точно так же. Забрав в руки мою жизнь, ты не знал, что с ней делать. Откуда тебе было знать? Ты даже не понимал, какая драгоценность попала к тебе в руки. Тебе бы следовало выпустить ее из рук и вернуться к играм со своими приятелями. Но, к несчастью, ты был своевольным ребенком - и ты сломал ее. И когда будут подведены все итоги, это, быть может, и окажется первопричиной всего, что случилось. Ибо потайные причины всегда ничтожнее внешних проявлений. Стоит сдвинуть атом - и это потрясает мироздание. Щадя самого себя не больше, чем тебя, я добавлю еще одно: наша и без того опасная для меня встреча стала погубительной потому, что произошла в определенный момент. Ты был в том возрасте, когда только и делают, что разбрасывают семена; я же вступил в ту пору жизни, когда настает время собирать урожай.

Я должен написать тебе еще о некоторых вещах. Во-первых, о моем Банкротстве. Несколько дней тому назад я узнал - признаюсь, с глубоким огорчением, - что моя семья уже не сможет откупиться от твоего отца - уже слишком поздно, теперь это противозаконно, и мне придется оставаться в том же бедственном положении еще очень долгое время. Мне очень горько сознавать это - мне разъяснили на законном основании, что я не имею права даже выпустить книгу без разрешения Кредитора, которому я обязан представлять на рассмотрение все счета. Я не могу ни заключить контракт с театральной дирекцией, ни поставить пьесу, не отослав все расписки твоему отцу и другим немногочисленным кредиторам. Надеюсь, что даже ты согласишься, что идея "сквитаться" с отцом, позволив ему сделать меня несостоятельным должником, не принесла того блестящего и полного успеха, на который ты рассчитывал и надеялся. По крайней мере, для меня дело обернулось другой стороной, и стоило бы больше считаться с той болью и унижением, которые я чувствую в своей нищете, чем с твоим чувством юмора, каким бы едким и изобретательным он ни казался. Если смотреть правде в глаза, то ты, допустив мое банкротство и заставив меня обратиться к суду, сыграл только на руку своему отцу - ты сделал все точно так, как он хотел. Один, без поддержки, он был бы беспомощен с самого начала. И вот он нашел в тебе своего главного союзника - хотя ты и не собирался выступать в столь неприглядной роли.

Мор Эди пишет мне, что прошлым летом ты несколько раз действительно выражал желание возместить мне "хотя бы отчасти то, что я потратил" на тебя. Я написал ему в ответ, что я, к несчастью, растратил на тебя свое искусство, свою жизнь, свое доброе имя, свое место в истории, и если бы твое семейство располагало всеми благами мира, владело бы всем, что мир почитает благом - гениальностью, красотой, богатством, знатностью, - и все сложилось бы к моим ногам, это ни в малой мере не отплатило бы мне за ничтожнейшую из моих потерь, ни за единую слезу из тех, что я пролил. Впрочем, нет сомнения - за все содеянное приходится расплачиваться. Даже если ты Несостоятельный Должник. Ты, видимо, полагаешь, что Банкротство удобный способ избежать уплаты долгов, то есть "расквитаться с кредиторами". Все обстоит как раз наоборот. Это - способ для кредиторов "расквитаться" с человеком, если придерживаться твоего любимого слова, способ, при помощи

которого Закон, конфискуя все имущество, заставляет его выплатить все долги до последнего, а если они не уплачены, человек остается без гроша, как самый убогий нищий, что жметя в подворотнях или тащится вдоль дороги, протягивая руку за милостыней, которую - у нас, в Англии, - он боится просить. Закон отобрал у меня не только все, что я имел - книги, обстановку, картины, авторское право на мои пьесы, авторское право на опубликованные произведения, на все - от "Счастливого Принца" и "Веера леди Уиндермир" до ковров с лестницы и скобы перед дверью моего дома, - но и все, что у меня когда-либо будет (моя доля, причитавшаяся мне по брачному контракту, была продана). К счастью, мне удалось выкупить ее через своих друзей. А если бы не это, то в случае смерти моей жены двое моих детей оставались бы в течение всей моей жизни такими же нищими, как и я. Я думаю, что теперь мне предстоит потерять и ту долю в нашем ирландском имении, которую мне завещал мой собственный отец. Мне очень горько думать об этой продаже, но я должен смириться.

Семьсот пенсов - или фунтов, кажется? - которые следует получить твоему отцу, должны быть выплачены во что бы то ни стало. Даже если меня лишат всего, что я имею, и всего, что я буду иметь, и выпустят как безнадежного неплательщика, я все еще буду обязан выплачивать долги. Мне предстоит расплатиться за все обеды в "Савое" - за прозрачный черепаховый суп, за ароматных дроздов, обернутых складчатыми листьями сицилийского винограда, за шампанское темно-янтарного цвета и почти янтарного благоухания кажется, ты предпочитал всем винам Дагонэ 1880 года? - за все придется расплачиваться. Ужины у Виллиса, особая сервировка, вино марки Перье-Жуэ, которое подавали только нам, дивные паштеты, присланные прямо из Страсбурга, чудесное шампанское, которое сначала наливалось на доньшко больших фужеров в форме колокола, чтобы истинные эпикурейцы, ценители всего изысканного в жизни, могли получше насладиться его букетом, - нельзя оставить все это неоплаченным, нельзя допустить, чтобы мой долг списали в убыток, как долг бесчестного клиента. И даже за прелестные запонки четыре серебристо-туманных лунных камня в форме сердец в оправе из чередующихся рубинов и бриллиантов - я сам придумал эту оправу и заказал у Генри Льюиса этот маленький подарок для тебя, чтобы отметить успех моей второй комедии, - даже за них - хотя я уверен, что ты сбыл их за бесценок через несколько месяцев, - я должен заплатить. Я не могу допустить, чтобы ювелир терпел убытки из-за моих подарков тебе, что бы ты с ними ни делал. Как видишь, даже если меня и выпустят, у меня все еще останутся долги.

И все, что сказано о банкротстве, относится и к любому из живущих. Ибо за все, что сделано, кому-то приходится расплачиваться. Даже и тебе самому при всем твоём желании быть абсолютно свободным от каких бы то ни было обязательств, все получать за чужой счет, при всех твоих попытках отделаться от любых притязаний на твою привязанность, уважение или благодарность, - тебе придется когда-нибудь серьезно задуматься над тем, что ты наделал, и попытаться - пусть безуспешно - искупить свою вину. И то, что не в твоих силах будет искупить ее, - станет частью твоего наказания. Ты не можешь умыть руки, отказаться от всякой ответственности и, улыбнувшись или пожав плечами, перейти к новому другу или к новому застолью. Ты не можешь относиться ко всему, что ты навлек на меня, как к сентиментальному воспоминанию, которое ты будешь иногда подавать друзьям заодно с сигаретами и винами - и смотреть на него, как на красочный фон современной праздной жизни, словно на старинный гобелен, вывешенный в дешевом трактире. Это может доставить минутное удовольствие, как новый соус или новое вино, но объедки после пира быстро портятся, а остатки вина горчат. Если не сегодня и не завтра, то когда-нибудь тебе все же придется понять это. А то ведь ты так и умрешь, ничего не поняв, - и какую же скудную, голодную, лишенную воображения жизнь ты оставишь за собой... В своем письме к Мору я изложил ту точку зрения, с которой тебе было бы лучше всего отныне смотреть на вещи. Он расскажет тебе об этом. Чтобы все понять, тебе придется развить свое воображение. Запомни, что воображение позволяет нам видеть вещи и людей и в реальном и в идеальном плане. Если ты не сумеешь разобраться в этом самостоятельно, поговори на эту тему с другими. Мне пришлось встать лицом к лицу со своим прошлым. Взгляни и ты прямо в лицо своему

прошлому. Посиди спокойно и поразмысли о нем. Самое страшное зло - поверхностность. Все, что осознано, - оправдано. Поговори об этом со своим братом. Да, Перси именно тот человек, с которым надо поговорить. Дай ему прочесть это письмо и расскажи подробно о нашей дружбе. И если ему рассказать все, как следует, то лучшего судьи нам не сыскать. Если бы мы прежде сказали ему правду, от скольких страданий и оскорблений я был бы избавлен! Ты помнишь, как я предлагал сказать ему все в тот вечер, когда ты возвратился из Алжира. Ты отказался наотрез. И вот, когда он пришел после обеда, мы принялись ломать комедию, чтобы уверить его, что твой отец - безумец, одержимый бредовыми и беспочвенными идеями. Это была превосходная комедия, пока ей можно было верить, тем более что Перси принял ее всерьез. К несчастью, кончилась она самым непристойным образом. И то, о чем я сейчас пишу, - одно из последствий этой игры, и если это тебя беспокоит, расстроит, не забывай, прошу тебя, что это глубочайшее унижение, которое мне суждено пережить. У меня нет выбора. У тебя - тоже.

Второе, о чем мне нужно с тобой договориться, - это то, на каких условиях, где и как мы встретимся с тобой, когда закончится срок моего заключения. По отрывкам из твоих писем, написанных к Робби в начале прошлого лета, я понял, что ты запечатал в два пакета мои письма к тебе и мои подарки - по крайней мере, то, что от них осталось - и хочешь передать их мне из рук в руки. Разумеется, необходимо вернуть их мне. Ты не понимал, почему я пишу тебе прекрасные письма, так же как не понимал, почему я дарю тебе прекрасные вещи. Тебе было невдомек, что письма не предназначались для того, чтобы отдавать их в печать, так же как подарки для того, чтобы отдавать их в заклад. Кроме того, они принадлежат той стороне жизни, с которой давно покончено, той дружбе, которую ты почему-то никак не мог оценить по достоинству. Тебе остается только удивляться, оглядываясь на те дни, когда вся моя жизнь была в твоих руках. Я тоже оглядываюсь назад с удивлением и с иными, совсем иными чувствами.

Если все будет в порядке, меня должны выпустить к концу мая и я надеюсь сразу же уехать в какую-нибудь маленькую приморскую деревушку за границей, вместе с Робби и Мором Эди. Как говорит Эврипид в одной из своих трагедий об Ифигении, море смывает все пятна и омывает все раны в мире. "Море смывает с людей все беды".

Я надеюсь провести со своими друзьями хотя бы месяц, и надеюсь, что рядом с ними, под их благотворным влиянием, я обрету покой, равновесие, их присутствие облегчит тяжесть, лежащую у меня на сердце, и умиротворит мою душу. Меня со странной силой тянут к себе великие первобытные стихии, такие, как Море, которое было мне матерью не меньше, чем Земля. Мне кажется, что все мы чересчур много созерцаем Природу и слишком мало живем в ней. Теперь я понимаю, что греки удивительно здраво смотрели на жизнь. Они никогда не болтали о закатах, не спорили, лиловы ли тени на траве или нет. Но они знали, что море зовет пловца, а прибрежный песок стелется под ноги бегуну. Они любили деревья за их тенистую сень, а лес - за полуденную тишину. Виноградарь прикрывал свою голову плющом, чтобы солнечные лучи не жгли его, когда он склоняется к юным лозам, а в гирлянды, которыми украшали художника и атлета - эти классические образы, оставленные нам Грецией, - вплетали листья горького лавра и дикого сельдерея, не приносявшие людям никакой иной пользы.

Мы называем свой век утилитаристским, а между тем мы не умеем пользоваться ни единой вещью на свете. Мы позабыли, что Воде дано омывать, Огню - очищать, а Земле - быть матерью всем нам. Поэтому Искусство наше принадлежит Луне и играет с тенями, тогда как греческое Искусство, принадлежащее Солнцу, имело дело с реальными предметами. Я уверен, что силы стихий несут очищение, и мне хочется вернуться к ним и жить среди них. Конечно, такому современному человеку, как я, - я ведь enfant du siecle [дитя своего века (фр.)], - всегда радостно хотя бы просто глядеть на мир. Я трепещу от радости, когда думаю, что в самый день моего выхода из тюрьмы в садах будут цвести

и ракитник и сирень и я увижу, как ветер ворвется трепещущей красотой в струящееся золото ракитника, заставит сирень встряхнуть бледно-лиловыми султанами - и весь воздух вокруг меня станет арабской сказкой. Линней упал на колени и заплакал от счастья, увидев впервые одну из горных пустошей в Англии, всю желтую от крохотных ароматных цветов обыкновенного дрока; я знаю, что и меня (ведь для меня цветы - плоть от плоти желанья) ждут слезы на лепестках роз. Так было всегда, с самого моего детства. Нет ни единого оттенка, затаившегося в чашечке цветка или в изгибе раковины, который, по какому-то тончайшему созвучию с самой сутью вещей, не нашел бы отклика в моей душе. Как и Готье, я всегда был одним из тех, *roug qui le monde visible existe* [для кто создан видимый мир (фр.)].

Но теперь я понимаю, что за всей этой Красотой, за всем ее очарованием, прячется некий Дух, для которого все расцвеченные поверхности и формы только обличья выражения, и я хочу достичь гармонии именно с этим Духом. Я устал от членораздельных высказываний людей и вещей. Мистическое в Искусстве, Мистическое в Жизни, Мистическое в Природе - вот чего я ищу, и в великих симфониях Музыки, в таинстве Скорби, в глубинах Моря я могу отыскать все это. Мне совершенно необходимо отыскать это где бы то ни было. Всякий, кто предан суду, отвечает своей жизнью, и все приговоры смертные приговоры, а меня трижды судили. В первый раз я вышел из суда - и меня арестовали, во второй раз - отвели обратно в камеру для подсудимых, в третий - заточили на два года в тюрьму. В том Обществе, какое мы создали, для меня места нет и не найдется никогда; но Природа, чьи ласковые дожди равно окропляют правых и неправых, найдет для меня пещеры в скалах, где я смогу укрыться, и сокровенные долины, где я смогу выплакаться без помех, она усыплет звездами ночной небосвод, чтобы я мог бродить в темноте, не спотыкаясь, и завет ветром мои следы, чтобы никто не нашел меня и не обидел, она омоет меня водами великими и горькими травами исцелит меня.

В конце месяца, когда июньские розы цветут во всей своей расточительной роскоши, если я буду чувствовать себя хорошо, я через Робби договорюсь с тобой о встрече в каком-нибудь тихом чужом городке, вроде Брюгге, который много лет назад очаровал меня своими серыми домиками, зелеными каналами и своим прохладным спокойствием. На это время тебе нужно будет переменить имя. Если ты хочешь увидеть меня, тебе придется отказаться от маленького титула, которым ты так кичился, - хотя благодаря ему твое имя и вправду звучало, как название цветка; но и мне, в свою очередь, тоже предстоит расстаться с моим именем, некогда столь благозвучным в устах Славы. Как ограничен, мелок, как немощен для своего бремени нынешний век! Успеху он может воздвигнуть дворец из порфира, а для Горя и Позора у него нет даже крытой хворостом хижины, где они смогли бы приютиться; и мне он может предложить только одно - сменить мое имя на какое-то другое, в то время как даже средневековье подарило бы мне монашеский капюшон или тряпичное забрало прокаженного и я скрыл бы свое лицо и был бы спокоен.

Я надеюсь, что наша встреча будет такой, как подобает быть нашей с тобой встрече после всего, что произошло. В прежние времена между нами всегда была пропасть еще более широкая, созданная совершенством Искусства и приобретенной культурой, но теперь между нами пролегла еще более широкая пропасть - бездна Горя, но нет ничего невозможного для Смирения, и Любовь все преодолевает.

Что касается письма, которое ты мне пришлешь в ответ на это, пусть оно будет длинным или коротким, как тебе угодно. Надпиши на конверте: "Начальнику тюрьмы Ее Величества, Рединг". Внутри, в другом конверте, вложи твое письмо ко мне; и если бумага у тебя слишком тонкая, не исписывай ее с обеих сторон - другим трудно будет читать. Я писал тебе совершенно раскованно. Ты можешь ответить мне так же. Мне необходимо знать одно - почему ты ни разу не попытался написать мне, хотя уже в августе позапрошлого года и позже, в мае прошлого года - с тех пор прошло

одиннадцать месяцев, - ты безусловно знал и давал понять другим, что знаешь, как ты заставил меня страдать и как я чувствую это. Месяц за месяцем я ждал вестей от тебя. Но даже если бы я не ждал, а закрыл бы перед тобой двери, ты должен был бы помнить, что невозможно навсегда затворить дверь перед лицом Любви. Судья неправедный в Писании в конце концов встает и изрекает справедливый приговор, потому что Справедливость ежедневно приходит и стучит в его дверь; и друг, в чьем сердце нет истинной дружбы, дает ночью хлеб своему другу "по неотступности его". В целом мире нет такой тюрьмы, куда Любовь не смогла бы пробиться. Если ты не понял этого, ты ничего не знаешь о Любви. Затем сообщи мне все о твоей статье для "Меркюр де Франс". Отчасти я ее уже знаю. Лучше будет, если ты процитируешь некоторые места. Она ведь уже набрана. Напиши мне также и точный текст Посвящения твоих стихотворений. Если оно в прозе, напиши в прозе, если в стихах - цитируй стихи. Я не сомневаюсь, в нем есть много прекрасного. Напиши мне о себе с полной откровенностью: о своей жизни, о своих друзьях, о своих занятиях, о своих книгах. Расскажи мне о твоём томике и о том, как он был принят. Скажи о себе все, что придется, и скажи без страха. Не пиши того, чего не думаешь, - вот и все. Если в твоём письме будет фальшь или подделка, я сразу же распознаю ее по тону.

Ведь недаром и не бесцельно я сделал себя в своём пожизненном поклонении литературе человеком, который, "как царь Мидас ревниво в старину, хранит свой клад"... Запомни и то, что мне еще предстоит заново узнать тебя. Быть может, нам обоим еще предстоит узнать друга друга.

А о тебе я скажу только одно, последнее слово. Не бойся прошлого. Если тебе станут говорить, что прошлое не возвратно, не верь. Прошлое, настоящее и будущее - всего одно мгновение в глазах Бога, и мы должны стараться жить у него на глазах. Время и пространство, последовательность и протяженность - все это лишь преходящие условия существования Мысли. Воображение может преодолеть эти границы и выйти в свободную сферу идеальных сущностей. И вещи по своей природе таковы, какими мы творим их. Вещь есть то, что в ней можно узреть. Блейк говорит: "Там, где другие видят всего лишь зарю, занимающуюся над холмами, я вижу сыновей Божиих, ликующих в радости". То, что казалось миру и мне самому моим будущим, я потерял не возвратно, когда поддался твоим подстрекательствам и выступил против твоего отца: по правде говоря, я потерял будущее уже задолго до этого. Теперь передо мной лежит только мое прошлое. Мне нужно заставить самого себя взглянуть на прошлое другими глазами заставить мир взглянуть на него другими глазами, заставить Бога взглянуть на него другими глазами. Я не могу достигнуть этого, ни перечеркивая прошлое, ни пренебрегая им, ни хвалясь им, ни отрекаясь от него. Достигнуть этого можно, только признав его в полной мере неизбежной частью эволюции моей жизни и характера; только склонив голову перед всем, что я выстрадал. Мне еще далеко до истинного душевного покоя, - тому свидетельство это письмо с его переменчивыми, неустойчивыми настроениями, с его гневом и горечью, с его стремлениями и невозможностью осуществить эти стремления. Но не забывай, в какой ужасной школе я получаю свои уроки. Если во мне еще нет совершенства, нет цельности, ты все же можешь еще многому у меня научиться. Ты пришел ко мне, чтобы узнать Наслаждения Жизни и Наслаждения Искусства. Может быть, я избран, чтобы научить тебя тому, что намного прекраснее - смыслу Страдания и красоте его.

Твой преданный друг

Оскар Уайльд.